

250

# ГРАНИ

GRANI

Г  
Р  
А  
Н  
И

2014

250

---

Avril – Juin

2014

# ГРАНИ

**Ежеквартальный литературный журнал**

*Проза, поэзия, очерки современности, религия,  
философия, публицистика,  
литературная критика и пр.*

Журнал считает своим долгом способствовать развитию свободной мысли, свободного слова, свободного творчества.

Почти полвека журнал публиковал произведения, которые не могли быть изданы на родине из-за цензурных или политических ограничений. В «Гранях» печатались произведения:

А. Ахматовой, Д. Андреева, Л. Бородина,  
М. Булгакова, И. Бунина, Г. Владимова,  
В. Войновича, А. Галича, З. Гиппиус,  
В. Гроссмана, Ю. Домбровского,  
Н. Заболоцкого, Б. Зайцева, Е. Замятина,  
Н. Коржавина, В. Корнилова, А. Куприна,  
С. Левицкого, Н. Лосского,  
В. Максимова, О. Мандельштама,  
В. Набокова, В. Некрасова, Б. Окуджавы,  
Б. Пастернака, К. Паустовского,  
Р. Редлиха, А. Ремизова, Ф. Светова,  
А. Солженицына, В. Солоухина, В. Тарсиса,  
М. Цветаевой, И. Шмелева, В. Шульгина  
и многих других отечественных  
и эмигрантских авторов.

\* \* \*

И в новых условиях уже в самой России журнал будет следовать прежним принципам, в первую очередь публикуя произведения, помогающие восстановлению прерванных тоталитаризмом традиций российской культуры.



Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов  
Редактировали:  
1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов,  
Б. В. Серафимов  
1947–1952 Е. Р. Романов  
1952–1955 Л. Д. Ржевский  
1955–1961 Е. Р. Романов  
1962–1982 Н. Б. Тарасова  
1982–1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч  
1984–1986 Г. Н. Владимов  
1986–1995 Е. А. Самсонова-Брейтбарт

С 1997 года  
Издатель и Главный редактор  
**Татьяна Жилкина**

Редакционная коллегия:  
Алла Ависова, **США**  
Ирина Басова, **Франция**  
Тамара Жирмунская, **Германия**  
Зоя Калинина, **Франция**  
Геннадий Николаев, **Германия**  
Екатерина Труш, **США**

**Москва–Париж–Мюнхен–  
Сан-Франциско**

# Г Р А Н И

**МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ  
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ  
THE RUSSIAN LITERARY JOURNAL**

---

Год LXIX

№ 250

2014

---

## СОДЕРЖАНИЕ

*«Пространство ширится и множится...»* 5

### *ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ*

Александр ИВАНЧЕНКО.  
Освобождение Толстого 6

### *ПОЭЗИЯ УЧАСТНИКОВ ПРАЖСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ*

Леонид ПОТОРАК.  
«Поздний плач по облетевшим листьям...» 41

Наталия ХМЕЛЕВА.  
«Гранью древнего кристалла...» 55

Надежда ГЕЙЛОВА.  
«В таинственном лесу своих желаний...» 64

### *АНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА*

Антон ШУСТОВ.  
Танго начинается с объятия 74

Валерий ИВАНОВ-ТАГАНСКИЙ.  
Босоногий 90

Алексей ХЕТАГУРОВ. Один поляк	99
Евгения ПЕРОВА. Франкфурт. Спасти Книгу!	113

### *ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ*

Елизавета ПАРШИНА. Разведка без мифов	123
--	-----

### *НАСЛЕДИЕ*

Лидия ГОЛОВКОВА. Храм для безбожника <i>Поэты и чекисты. Покровитель талантов. Глеб Бокий и страна богов Шамбала. Кремлевское «Дело»</i>	169
--	-----

### *НАШИ ИНТЕРВЬЮ*

Глеб ВАСИЛЬЕВ: «Я — ваш, больше, чем с небо!»	218
--	-----

### *ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ*

Заманчивое предложение Йозефа Швейка	230
<i>Коротко об авторах</i>	235

*Обложка художника Н. Мишаткина*

*Эмблема — «Парус»  
Художник И. Иогансон*

*Пространство ширится и множится,  
И время, вспыхивая медью,  
Над ним полынью придорожною  
Склоняет тёмные соцветья.  
А небо вычерчено курсами,  
А в небе движутся армады  
Воздушных кораблей, без усталости  
Парящих, сумрачных, крылатых.  
Всё в жизни видится и виделось,  
Все жизнью движимы — и пусть их.  
В пространство прорастает жимолость,  
И запах трав сильнее грусти.  
Так, не пробившие пока ещё  
Земную твердь, лесные ивы  
Над миром нависают завтрашним  
Никак не названным, счастливым...*

Леонид Поторак

Александр Иванченко

## Освобождение Толстого

*В чем моя вера? Буддийские мотивы  
в жизни и творчестве Льва Толстого*

### **Устав божественный и устав человеческий**

«На днях я шел в Боровицкие ворота; в воротах сидел старик, нищий-калека, обвязанный по ушам ветошкой. Я вынул кошелек, чтобы дать ему что-нибудь. В это время с горы из Кремля выбежал бравый молодой румяный малый, гренадер в казенном тулупе. Нищий, увидав солдата, испуганно вскочил и вприхромку побежал вниз к Александровскому саду. Гренадер погнался было за ним, но, не догнав, остановился и стал ругать нищего за то, что он не слушал запрещения и садился в воротах.

Я подождал гренадера в воротах. Когда он поравнялся со мной, я спросил его: знает ли он грамоте?

— Знаю, а что?

— Евангелие читал?

— Читал.

— А читал: «и кто накормит голодного»?.. — Я сказал ему это место.

Он знал его и выслушал. Я видел, что он смущен. Два прохожие остановились, слушая. Гренадеру, видно, больно было чувствовать, что он, отлично исполняя свою обязанность, — гоняя народ оттуда, откуда велено гонять, — вдруг оказался неправ. Он был смущен и, видимо, искал отговорки.



Вдруг в умных черных глазах его блеснул свет, он повернулся ко мне боком, как бы уходя.

— А воинский устав читал? — спросил он. Я сказал, что не читал.

— Так и не говори, — сказал гренадер, тряхнув победоносно головой, и, запахнув тулуп, молодецки пошел к своему месту.

Это был единственный человек во всей моей жизни, строго логически разрешивший тот вечный вопрос, который при нашем общественном строе стоял передо мной и стоит перед каждым человеком, называющим себя христианином».

Закон божеский и закон мирской, устав божественный и устав человеческий — такова основная мысль работы Толстого «В чем моя вера?», и не только ее. Кто руководствуется в своей жизни «военным» уставом, а не божественным, решает в пользу ближайшей плотской или интеллектуальной выгоды, а не в пользу вечного закона, не исполняет обоих.

Утрата духовных начал человека и общества начинается именно с этого — с предпочтения человеческого божественному, отчего происходит утрата и божественного, и человеческого. Без преувеличения можно сказать, что это лейтмотив всего творчества Толстого, всей его жизни.

Он никогда не разделял жизни и творчества, слова и поступка, поэтому его слова имеют непреходящее значение.

«Вопрос гренадера, — пишет Толстой, — Евангелие или воинский устав? закон Божий или закон человеческий? — теперь стоит и при Самуиле стоял перед человечеством. Он стоял и перед самим Христом и перед учениками его. Стоит и перед теми, которые теперь хотят быть христианами, стоял и передо мной».

Самая необходимость различения этих законов и даже существование их теперь почти забыты. В искусстве и литературе подавляющий приоритет «военного» устава над божественным сегодня как никогда присутствует, и всем очевидны его плоды.

«Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками», — эти простые в своей гениальности слова писателя обозначили вечную остроту выбора между бо-

жественным и человеческим. Потому что «мучители», в конечном счете, это все исполняющие «военный» устав, а мученики — исполнители божественного.

Развитие и личности, и общества, всякое падение и возвышение их, происходит как раз в диапазоне между законом божеским и человеческим. Совместить оба этих закона, сделать их тождественными по своему положительному нравственному содержанию, в этом, несомненно, задача истинного прогресса.

### ***Как им обустроить Россию***

Россия последовательно лишилась сначала — монарха, затем — Бога (на самом деле, конечно, наоборот), то есть осталась без земного и небесного *господина (хозяина, владыки)*. Остаться с такой жадой *обожания*, с такой жадой *Отца*, и, в то же время, с таким своеволием ребенка — один на один перед лицом универсума — значит провалиться в экзистенциальную пропасть, что Россия незамедлительно и сделала.

В этом метафизическом страхе, лихорадке внезапной и ненужной свободы, с одновременной потребностью *сиротства* и *обожания*, горячечный больной принялся метаться в постели, страстно, в бреду, *на коленях* призывая к себе новый объект поклонения, нового господина, припадая то к небу, то к аду, то к земле, то к воле.

И пригрезил себе *Бога*, причем, за интеллектуальной трусостью и страхом небесного наказания — Бога и Тирана *в одном лице*.

Это и есть *тоталитарность*, всеобщность *призванного* насилия — духовного, морального и физического одновременно.

Это называлось сначала — *ЛЕНИН*, потом — *СТАЛИН*, потом — уже упадок идеи — *КОММУНИЗМ*, — а теперь они хотят назвать это *ЗАПАДНЫМ РАЕМ, БЛАГОПОЛУЧИЕМ, ЛИЧНЫМ УСПЕХОМ, БЛАГОДЕНСТВИЕМ, ПРОЦВЕТАНИЕМ*, чтобы скрыть новое безбожие и нового тирана за идеологической абстракцией и продолжить *падение*.

Такой чувственный и эмоциональный народ, жаждущий обожания, не потерпит абстракций! Немедленно верните ему его богов — а то он сам назовет себя Богом!

Тогда это будет называться *НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ*.

Но всемирная отзывчивость русского человека, которую вполне и безусловно воплотил в себе из писателей разве только Толстой, вряд ли примет ее, потому что национальная идея — это упадок божественного закона, все тот же «военный устав», который всегда на самом деле обходится и без нации, и без государства, и без родины, и без Бога. В «военном уставе» Бог и народ занимают соответственно роль Главнокомандующего и его солдат, которых он не задумываясь бросает на уничтожение.

### *Левиафан художника*

Всегда отвратительно видимое сближение личности и государства, вернее, наивные упования на то, что такое сближение возможно.

Общественное противостояние двух законов, божественного и человеческого, тоталитарное государство стремится снять прежде всего в *художнике*. Оно делает это очень простым способом: насилием и подлогом, объявляя преходящее и земное вечным, а божественное и неизменное — несуществующим. В этом ему помогают наука и недобросовестный художник.

Если государство «машина угнетения», «самое холодное из всех чудовищ», то личность (художник, мыслитель) — это генератор свободы, источник мирового тепла, излучающий жар, — и противостояние их неизбежно. В напряженном поле между этими двумя полюсами и существует талант как возможность творчества и жизнетворчества; предположить, что напряжение этого поля когда-нибудь ослабеет, — значит предположить, что может быть исчерпана возможность творчества.

Причем государство выступает всегда не только как носитель жестокости — антигуманных свойств социума, не просто как Левиафан — безличное воплощение несправедливости и насилия — в этом случае художник был бы лишь элементар-

ным социальным рефлексом, — но и как олицетворение чудовищной бездарности, антихудожественности всего своего устройства, антипод красоты и гармонии, чье зло прежде всего — в отсутствии красоты и вечном преследовании ее.

Прекрасное оно допускает лишь как часть могущественного («военного»), тогда как художник мирится с могущественным только как с аспектом прекрасного (божественного).

Деспотизм всех внутренних и внешних состояний государства — это деспотизм именно безобразного, противостоящего красоте. Оно не терпит добра потому, что не терпит красоты: в конечном счете, справедливое, человеческое, доброе — только частный случай эстетического. Конфликт художника и государства, в последнем основании, это конфликт «военного» и божественного устава, внеэстетического и эстетического, прекрасного и безобразного.

В условиях цензурного гнета даже маленький талант кажется себе свободным и значительным. Это чувство — и даже самая способность таланта рождаются из чувства социального напряжения, поверхностного раздражения совести; устранение внешних преград означает для маленького, ручного дара упразднение этого напряжения, а вместе с ним и ощущения дара.

Но истинный, глубинный талант, каким был талант Толстого, созревает в ином конфликте, в другом противоречии — в противостоянии между временным и вечным, божеским и человеческим.

Социальная свобода, всегда относительная, возникающая в начале революций, обнажает этическую бездну, предъявляет каждому *личный* счет за *собственное* существование, взыскует личной ответственности, остро ставит перед каждым проблему метафизической основы, духовной защиты.

В каком-то смысле здесь можно говорить о бессознательной человечности тоталитаризма, гуманных свойствах Левиафана, поскольку, отягощая человека проблемами наличного бытия — крова, хлеба, пола (который всегда угнетаем в деспотиях), — он защищает его от проблем онтологических, проблемы личной ответственности и личного мировоззрения. Ре-

волюции не просто пытаются заменить устав божественный уставом человеческим, но и обоготворить последний.

Выход человека вовне, к людям, участие его в революциях, движениях, войнах, обусловлен, как правило, не наличием у него особых этических свойств, а как раз вопиющим отсутствием их; или, еще определеннее: момент, когда личность решается выйти из себя, вовне, знаменует собой момент либо высочайшего совершенства, подвиг альтруизма, либо — что вернее — момент величайшего падения и безответственности личности, ее нравственного упадка, уклонения в дуальность.

Для большинства это акт отчаяния, бегство от собственного несовершенства, погружение в социальный хаос как в средство избавления от внутреннего давления духа.

Меня всегда удивляло, с какой легкостью человек оставляет внутреннее прибежище духа ради мнимой внешней свободы, что можно трактовать только как попытку избавиться от напряжения экзистенциальной совести. Своеобразный духовный эскапизм, бегство от собственного хаоса в хаос мнимой свободы. Ибо кто мешает художнику, если он действительно художник, построить свой художественный мир по законам добра и справедливости, по проекту божественного, а не человеческого закона?

Чаще всего, он этого просто не умеет или соблазняется доступной зримостью мирского закона. Неужели он думает, что построить этот мир вне себя легче? Он соблазняется *следствием*, забывая *причину*. Мир соблазна — это вообще мир следствий, мир не божественного, а человеческого, и соблазняясь им, художник соблазняется *вторичным*.

Государство, общество, революция, все внешние институты, как и сам внешний человек, всегда имеют дело с «воинским уставом» — явлением, следствием, *фактом*, хотя и имеют делотолько с ними и интерпретацию факта (явления) отождествляют с самим фактом: они опасаются иметь дело с *сущностями*, с «божественным уставом», с *ноуменами, идеями, причинами*, чтобы они не разрушили лелеемых ими заблуждений.

На глубине «военного устава» нас всегда ожидает *пустота*, потому что он — событие материи, а не духа, грубая фор-

ма феноменального, субстанция мировой лжи. Чтобы ввести факт в сферу жизненно обрацаемых идей, поднять его на уровень обобщения, его нужно пережить *идеально* и воплотить в художественном или философском слове, или, шире, — в эстетически организованной форме.

Идея, не воплощенная в эстетическом образе, остается *политической* и не обладает силой жизни. Внутренняя красота — это зрелость идеи, ее готовность к самовыражению и, следовательно, к *существованию*. Художник *ожидает* красоты, *переживает* ее, а уже потом воплощает ее в формах.

Совершенная форма есть момент примирения идеи с действительностью, «воинского» устава с божественным. В совершенном искусстве бытие *примиряется* с реальностью. В нем Божественный Закон трансформируется в Человеческий. Гениальный художник максимально сближает в своем творчестве содержания двух законов: божественного и человеческого, причину и следствие.

Он сам — путь перехода между законом человеческим и Законом Божественным.

Жизнеспособность идеи может быть измерена только совершенством (зрелостью) ее эстетического выражения. Зло не может быть прекрасным: в нем нет эстетического ресурса. Неспособность идеи выразиться в прекрасном (то есть в добре) означает ее несостоятельность. Поэтому она ищет выражения в зле и будет выражена в нем.

Порабощение мысли, духовной жизни, совести, божественного закона человеческим, означает духовную гибель, перед которой отступает даже проблема жизни и смерти. Революции, возникающие из протеста перед порабощением материей, всегда обречены, потому что путают причину со следствием.

Они всегда — зло, потому что лишь уплотняют материю и глубже закабаляют дух. Пресмыкание мысли перед материей, рабство ее у материи — последний уровень нисхождения мысли перед падением ее в небытие. Ее восхождение начинается с различения закона человеческого и закона божественного.

Она достигает совершенства в *свободе*, реализуя не человеческий, а божественный закон.

Левиафан художника — это его склонность ко всякой мнимости: экстериоризированный ли Бог или интериоризированное государство, проводником которых часто выступает его собственный дар, его собственное искусство. С ними он расстается в последнюю очередь, ибо они синонимы внешней и внутренней объективации, то есть синонимы его несвободы.

С внешним Богом и своим даром художник расстается одновременно — если он способен к Свободе.

Если он способен стать гением не формы, а содержания.

Если он способен к преодолению военного устава и преобразению в себе человеческого закона в божественный.

### ***Плоды просвещения***

Когда торжествует не божественный, а человеческий закон, торжествует насилие, прежде всего над духом, потому что большинству нужны плоды свободы, а аристократии духа — сама свобода, поэтому интеллигенция и народ могут быть объединены только в начальной точке борьбы за свободу: дальше начинается их мучительное расхождение. В этом их вечное противоречие.

В этом же состоит жесточайшее онтологическое противостояние души и тела, в котором демос (тело) жестоко презирает интеллигенцию (душу) и в то же время неразъединимо слит с нею, поскольку интеллигент один является носителем свободы, а народ только порученцем ее. Он исполняет ее завет.

Хлебы, раздаваемые Христом народу, есть воплощенная несвобода народа, тогда как возможность отвергнуть их и сам Он — свобода.

Выбирая хлеб, народ отвергает Христа, а затем распинает и свободу.

Человеческий закон всегда выбирает хлеб, а божественный закон — свободу.

## ***Fabula rasa***

Вот ключ к вечной политической фабule истории: безжалостная тирания порождает эпохи упадка и безволия, а упадок и безволие порождают новую тиранию. Периоды так называемого «расцвета» государств — это просто историческая межа, отдых между пиком деспотизма и ямой упадка.

«Расцвет искусств» знаменует собой начало упадка.

Тогда же расцветает и так называемая «личность», подвергаемая наибольшему давлению в эпоху тирании потому, что она сама — порождение тирании, развитие не божественного, а человеческого закона, следствие следствия, а не причина причины. Но деспотия и — лучшее время сражения за самоуничтожение, за истребление в себе «я». В ней легче всего прокладывается путь к себе, восстановления в себе божественного закона.

Но этого современному человеку, ведомому поверхностными «демократическими» и «либеральными» инстинктами не понять. Для этого он все еще слишком «личность».

Для этого он сам все еще не божественный, а человеческий закон.

## ***Демократизм чувств***

Эпохи демократий и либерализма в политике в каком-то последнем основании связаны с разнузданностью чувств, растленностью желаний. Эры тирании связаны с суровостью желаний и аскетизмом чувств. Но я меняю местами причины и следствия.

Смена политических режимов обусловлена именно усталостью от аскетизма или от тирании чувств, а не сознательным пробуждением воли к политической или нравственной свободе. Господство неограниченной воли в своем подсознании жаждет аскетизма, стремится к тирании духа. Подавленные чувства и желания ведут к слову деспотий и оформляют демократические режимы, а разнузданная чувственность опять жаждет аскетизма и авторитарной власти.



Так, простые чередования усталости и пресыщения чувств и их авторитарного подавления со стороны личности, а не государства, ведут к смене политических режимов, смене формаций.

Эволюция «я» возможна только в сторону самоотрицания, что является потребностью разума, а не чувств, но поскольку «я» обитает преимущественно в чувственной среде, оно чувствами и ограничивается. Движение материальной цивилизации (другой мы не знаем) вообще развивает чувственность, а не «разумность». Осуществление «воинского устава» происходит в плотской, материальной среде. Совершение божественного требует расширения духовной среды и конечного преобладания ее.

Разум авторитарен в принципе: он разрушает чувственность, разрушает «я», разрушает «демократию» чувств, удовольствий и желаний чувств.

Но — разум, осознавший свою суверенность в плебейском государстве удовольствий и чувств. При ином раскладе он сам становится подданным чувственности, сам становится фактором растления.

Божественный закон в нас — это свободный и совершенный разум, а человеческий закон — чувственность, не знающая ограничения и стремления к нему. Совершенной чувственность становится не сама по себе, а только ограниченная разумом, под контролем совершенного разума. Совершенный разум превращает чувственность в разумность, когда божественный закон становится доминантой сознания.

### ***Мораль уголовного кодекса***

В пределах «военного устава» никакая коллективная, общественная мораль невозможна, в нем невозможна даже мораль одиночек. И земная, и небесная мораль осуществляется только в божественном законе.

Государство же всегда предписывает человеку мораль уголовного кодекса, нравственность воинского устава, которой человек массы защищается от себе подобного, но не

может защититься от самого себя. От себя его не спасает даже Деспот Неба, Главнокомандующий пушечного мяса армии наивно и примитивно верующих.

Моральное сознание нравственной личности, оберегающее индивидуума и от самого себя, и от ложного Бога, заменено в человеке массы страхом перед наказанием: это его *самосознание*, его *справедливость*, его *нравственные устои*, его *Божество*. Это ее, массы, *бытие в Боге*. Другого у нее не бывает.

Наблюдающему в подзорную трубу за землей Богу она адресует свой нравственный императив. Собственную совесть она заменяет всевидением, или подглядыванием за собой Бога. Когда человеку кажется, что Бог слеп или на время утратил бдительность, человек нарушает Его Закон, по видимости продолжая верить в него. Тогда он становится *атеистом*, осуществляющим человеческий закон.

### ***Бог полицейских***

«Бог на земле слабее полицейского», — в запальчивости бросает философ, и ему радостно вторят его легкомысленные современники.

Такой вдумчивый мыслитель, как Бердяев, конечно, понимал, что «Бог», «Абсолют», «природный» или «космический» порядок, как их ни назови, действует всегда и везде, и в особенности неотразимо — там, где не хотят признавать главенства Его самого и главенства Его нравственного закона. Где этого закона не признают и подменяют божественный устав человеческим, на Абсолют возлагают функции простого полицейского, и тогда он становится кошмаром живущих.

Именно такой Бог может быть назван Богом полицейских, поскольку всегда стоит у перекрестка с палкой и квитанцией на штраф. Так, удаленный корыстным человечеством с земли на небо, Бог становится на ней Главным Полицейским, исполнителем не божественного, а военного устава. На Страшном суде таким Богом будут отняты все наши права.

Бог на земле скрыт, облечен в покровы зла, максимально удален в бесконечной цепи причин и следствий для то-

го, чтобы мы не могли «предусмотреть» и переиграть этот порядок и поступали бескорыстно и совестно.

Он действует в абсолютной моральной свободе, и когда мы поступаем соответственно, то сами уподобляемся Ему и становимся божественными. Тогда мы исполняем Его Закон. Все, чего хочет от нас Бог — это чистоты намерений, то есть, незаинтересованного действия, в котором нет ни средств, ни цели.

Это значит — полное доверие к собственной совести, посредством которой мы и сообщаемся с Абсолютом. Действовать для самого действия, а не ради плодов действия — это и значит осуществлять не воинский, а божественный устав. Бог сам исполняет его и предписывает то же человеку.

### ***Три возраста «я»***

Тремя факторами могут определяться поступки человека: мотивацией собственного «я», или интересами эгоизма; мотивацией мира (то есть, того, что скажут и подумают другие); и, третья, мотивацией Божественного Закона, закона добра. Первые две мотивации осуществляют «воинский» устав, третья — Устав Божественный. Божественный Устав требует отказа от *личного*.

Все три типа поведения человека в мире так или иначе определяются интересами его «я», но на путях Божественного Закона «я» наконец развоплощается и гибнет, тогда как другие две мотивации ведут к его феноменальному распуханию, разрастанию. Торжество личного означает торжество человеческого над божественным.

Особенно опасной бывает «воинская» общественная мораль, социальный устав, не санкционированные внутренним убеждением индивида. Но еще более опасно добро, имеющее злые побуждения. В ложных мотивациях добра «я» разрастается до филистерских размеров и пренебрегает мотивацией Закона. Тогда человек верит, что он добр добром Бога.

## ***Классики и современники***

Когда писателя, мыслителя, художника не признать уже нельзя, когда уже не удастся больше игнорировать книгу, личность, биографию, философию, мировоззрение, с ними поступают так: подвергают их насильственной интерпретации или вивисекции, обрывая мысль, уродуя жизнеописание, кастрируя содержание. Так потомки расправляются со своими духовными авторитетами.

«Непротивлением злу» еще до сих пор клеймят Толстого, забывая добавлять: «насилием». Так современникам спокойнее.

«Я знаю, что я ничего не знаю», — гордо заявит какой-нибудь теперешний невежда, опуская восхитительное: «а другие не знают даже и этого». «Мы должны освободиться от морали» — последует за словами Ницше целое государство, утаив от других и самого себя вторую часть формулы: «чтобы суметь жить морально». И так далее.

Так современники делают классиков своими соучастниками. За бессилием стать их современниками.

## ***Вопросы и ответы***

Однажды меня спросили на встрече с читателями:

— Что бы вы ответили Достоевскому на то, что красота спасет мир?

— Я бы ему ответил словами Толстого: «Удивительно, до какой степени бывает полная иллюзия того, что красота есть добро».

— Значит, она зло?

— По-видимому. Во всяком случае, красота, доведенная до совершенства, уже начало разложения. Она не утверждает, а опровергает жизнь, пренебрегает ею. Она высокомерна перед бытием, отчуждает его, погружена в самое себя. Бытие есть движение, поиск, стремление к совершенству, а красота прекращает в себе это стремление, останавливает движение. Поэтому музеи называют кладбищами культуры.

Красота скорее не утверждает, а отрицает бытие. Она стоит на границе бытия, уже покинув его, но еще не достигнув вечного и божественного. Я не знаю ни одного случая, когда бы творение земного творца можно было бы приписать Богу. Поэтому она по необходимости должна находиться между добром и злом как области, от которой она может начать движение в обе стороны, стать как тем, так и другим. Часто она объединяет в себе добро и зло. Почти всегда она устав не божественный, а военный.

Красота вызывающа, соблазнительна, двусмысленна, надменна, она презирает и определяет, является детерминантом как добра, так и зла. Она сама является одновременно и добром, и злом, поэтому не может удержаться в бытии. Элементы распада, которые она в себе содержит, становятся причиной онтологического конфликта между ней и миром, художником и его шедевром.

Спасти красоту может только Бог, продиктовавший художнику свои формы, но художник редко слушает Небо. Он сам себя называет Богом.

### ***Промахнуться, чтобы попасть***

В «Крейцеровой сонате» есть замечательное место, где Позднышев, главный герой повести, ревнуя жену и желая убить ее, все же не смеет сделать этого и *прицельно целит мимо*. Схватив со стола тяжелое пресс-папье, он швыряет его в супругу, в то же время старательно избегая попасть в нее. «Я очень хорошо целил мимо», — говорит ревнивец.

Несложная довольно коллизия, банальный жизненный сюжет, тривиальный психологический жест, который каждый в жизни применял хотя бы символически (целясь, например, во врага не тем словом, а другим, подкладывал под одно чувство другое, лгал улыбкой) — но если расширить ее значение до нашей ежедневной, ежечасной жизненной практики, старательной увертки подавляющего большинства людей от главной, единственной в жизни цели, *чтобы не попасть в нее*, — она становится чудовищно правдивой и безжалостной.

Для писателя, берегущего свою единственную, главную в жизни тему, это наблюдение имеет решающее значение. Искренний художник, нащупывая свою истинную цель, до времени очень хорошо целит мимо во всех своих писаниях и поступках, чтобы как-нибудь не задеть своей истинной цели и не *зашибить* ее. Он делает это *сознательно бессознательно*.

Старательно целиться в мелкие цели и отважно поражать их, чтобы не попасть в Главную — в этом, пожалуй, состоит искусство жизни большинства. Толстой, какими бы великими по-мирскому и художественному счету ни были его главные художественные творения, все же в конце выходит к главной теме своей жизни — божественной правде, божескому уставу, и им посвящает все свои поиски. Он принадлежал к тем, кто сознательно избегал всех ложных достижений и внутренне всегда стремился к поражению.

В своем художественном творчестве Толстой преодолевал воинский и осуществлял божеский Устав.

*Промахнуться, чтобы попасть* — так поступают Знающие Цель.

### ***Жизнь как литература***

Среди писателей, вообще среди всех держащих перо и маряющих бумагу, мне почти не встречалось настоящих художников, созерцателей, мыслителей — все они были просто персонажами самих себя, играли *роль*.

Это значит, они не выходили из собственного бытия, что требует от художника даже его искусство, а продолжали оставаться в нем, — то есть были не авторами, а персонажами.

Соответственно, они подчинялись в жизни не своему, а чужому замыслу, чаще всего злому, и плыли по течению, воображая себя рекой.

Эту захваченность потоком существования острее всего можно наблюдать в обычных людях, маленьких талантах и скромных дарованиях. Нетрудно догадаться поэтому, что глубина дарования измеряется дистанцией между «лич-

ным» и «надличным» художника, между его «субъективным» и «объективным», человеческим и божественным. В существовании среднего человека они как правило слиты и имеют окраску только личного, пристрастного, субъективного.

В жизни, как и в литературе, тоже нужно быть художником — то есть уметь отказаться от собственного существования ради творчества, ради познания. Понимание в жизни и литературе обеспечивается только одним: способностью отказаться от собственной личности ради погружения в чужую. Силы зла (эгоизма) и таланта в художнике находятся в обратной зависимости. Ценой отказа от человеческого ради божественного художник покупает себе бессмертие. Это к вопросу о совместимости гения и зла.

Могут ли быть совместны закон божественный и закон человеческий, пусть спросят у посредственности, прилежно исполняющей «воинский» устав, но не исполняющей божественного: она даже не допускает существования божественного устава. Плодами исполнения «военного» устава награждаются на земле, а плодами исполнения божественного — на небе.

В том числе, и на небе художественного совершенства, которое знает гений.

### ***Четыре опьянения***

Три опьянения, три отравления — жизнью, молодостью, здоровьем — перечисляет Будда в одной из своих сутт как величайшие опасности, которые подстерегают человека. Опасность всех их видел и знал Толстой. «Пьян жизнью», «опоен здоровьем», «упоен молодостью» — эти выражения часто буквально или сходные по смыслу можно встретить у Толстого-писателя.

В «Смерти Ивана Ильича» читаем: «Кроме вызванных этой смертью в каждом из соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том,

что умер он, а не я. „Каково, умер; а я вот нет!“ — подумал или почувствовал каждый».

В «Исповеди» эта мысль выражена еще резче: «Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман, и глупый обман!»

Опьянение жизнью Толстой преодолевал сначала в самой жизни, затем в художественном творчестве, а в конце — в религиозных трудах.

Ибо художественное творчество, следует это признать, особый вид опьянения, которым, правда, Толстой не был опьянен буквально, но миновать его все же на своем пути не мог: оно психологически связывает его художественные и духовные поиски.

Сегодня мы могли бы добавить к этим трем опьянениям четвертое, которого не называла древняя психология. Это — опьянение художника своим талантом. Им были опьянены почти все великие русские писатели — Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Бунин, Набоков, им был слегка хмелен даже Лесков и отчасти даже Платонов. Ни своим, ни чужим талантом не были опьянены, пожалуй, только Толстой и Чехов, не напрасно они чувствовали друг к другу взаимную приязнь.

Толстовский трактат «Что такое искусство?» посвящен именно теме разоблачения этого опьянения, эгоизму и ограниченности искусства, забвению художником в себе божественного закона перед законом искусства, ограничения себя законом искусства.

То, что закон искусства есть частное проявление «воинского» закона, Толстой понял очень рано, и с успехом преодолевал его в себе. Опьяненность, отравленность собственным талантом и даром — основная черта жрецов нового искусства, а такое упоение ведет к ожесточению художнического эгоизма, искажению художественного зрения, а в итоге — к конфликту божественного и человеческого закона, не к объединению, а разъединению людей.

Художника от художника отделяет именно его погруженность в прелесть собственного таланта, идолопоклонство пе-



ред ним. Это же отделяет художника и его искусство от людей. Сам дар часто отделяет человека от Бога.

### ***Говорить без слов***

Почему я хочу говорить? Потому что у меня есть слова. Почему у меня есть слова? Потому что я *думаю* словами. Почему я думаю словами? Потому что я *не думаю*, не *мыслю*, а *говорю*.

Думать не словами, а тем, из чего состоит мысль, еще не выраженная словами — это истинная мысль, истинное творчество. В такую мысль не прокрадется ни Бог, ни Дьявол. Такое творчество рождается спонтанно, синхронно с замыслом Бога, всегда равно вдохновению, а не воображению, не призываемо словами — а призывает их.

Лишние слова в мире все те, которые призывают вдохновение, призывают Божественный Закон, а не призываемы им, извергнуты воображением, а не посеянные в нем.

Слова, сказанные *до* Божественного Закона, до озарения, — не истинные слова.

Особенно подозрительны так называемые *выношенные* слова: их так долго носили, что уже забыли, из чего они происходят.

Выношенные слова — это чаще всего изношенные слова. Выношенное слово истлевет раньше, чем появилось на свет, оно стремится в нем занять место божественного слова. Художник борется в себе своим искусством за торжество божественного закона.

### ***Жизнь слов***

Нужно стремиться сказать словами то, что не сказал жизнью, а жизнью то, что не сказал словами. Между словами и жизнью Толстого почти никогда не было различия, они из одной субстанции, одной крови. Он делал, что говорил и делал, что думал. Тот, чьи слова и существование *сжиты* — истинный художник.

Кто пытается разделить их, убивает обоих.

### ***Книги и не-книги***

Я знаю, как пишутся книги: это *освобождение* от слов.

Я знаю, как пишутся не-книги: это *голод* слов, необходимость слов.

Литература — это пресыщение, акт выделения, извержения, избавления, освобождения, сопровождаемый *унынием*.

Не-литература, сверхлитература — это алкание, акт утоления, поиска, вчувствования, вживания, насыщения, сопровождаемый *ликованием*.

Толстой не занимался «литературой».

Оставаясь внутри божественного закона, он оставался *вне* слов.

### ***Слова неизреченные***

Проникнуть в бритвенный зазор, в микроскопическое пространство первичной интуиции, первоощущения, первоозарения, первовосприятия, в бессловесные потемки мира — здесь я вижу точку приложения творческих усилий классиков и творческих усилий литературы и философии будущего.

Если удастся войти в это пространство *до* слова, *до* речи, выделить его в себе и уберечь от всеразрушающего действия языка — который и есть время — тогда мы будем иметь новую философию и литературу, тогда удастся *быть*, тогда мы будем спасены.

Литературу и философию *неизреченные*, произнесенные, которые уже и сейчас существуют до нас — *нами*, внутри нас.

Этой литературе не понадобится читателя.

Как Богу, который только *созерцает* свою ненаписанную Книгу.

### ***Новые измерения***

Человек мал в зле, велик в добре. Почему эта тривиальная истина столь же понятна, сколь и недостижима?

Зло, каким бы оно великим ни было, умаляет нас, потому что увеличивает наше ощущение «я»: падение в бездну «я»

уничтожает человека; добро, каким бы оно малым ни было, возвеличивает нас, потому что умаляет наше «я», низводит его на низшие уровни и планы.

Но человек «воинского устава» будет всегда стремиться к злу, потому что он стремится не к величию, а только к полноте самоощущения. Если для этого ему понадобится спуститься в ад, он не замедлит сделать это.

Ни адом, ни раем нельзя запугать низшего человека.

Высший человек страшится даже добра.

### ***Жажда добра***

Первичным толчком к творчеству служит переполненность опытом: восприятиями, ощущениями, впечатлениями, мыслями, словами. Когда чувства — через край, сил много, слова толпятся у горла, выпрашивая подаяния, нужно как-то избавляться от них, отводить напор в безопасное русло. Поэтому творчество, прежде всего, это психотерапевтическая проблема: застой опасен, нужно изживание накопившейся психологической массы, иначе — взрыв, стрессы, кризис, депрессия, блуждание во мраке бессознательного, сумасшествие, даже преступление.

Может ли поэтому творчество быть *чистым*? Если да, то только в смысле стерильности операционной, в которой больному удаляют язву. Не об этом ли говорит Дега: «Художник так же (обреченно?) идет на создание своего произведения, как преступник идет на злодеяние»? Или он имел в виду неотвратимость призвания, вечную диалектику взаимных притяжений — палача и жертвы, преступника и преступления, художника и его искусства?

В более глобальном измерении необходимость творчества — это необходимость изживания опыта, высвобождение нарождающегося психического тела из тисков разлагающегося старого. Преодоление материала собственной личности, отмерших и отмирающих духовных клеток и освобождение себя для нового строительства.

Результат важен только в одном смысле: состоялось или нет рождение *нового* человека. С этой точки зрения внешнее

и внутреннее следствия творчества не всегда совпадают, или, лучше сказать, не совпадают никогда: творческая неудача может означать взлет личности, тогда как явленный миру шедевр — ее крах.

Здесь художник жаждет творчества как Божественного Закона, как добра.

### ***Жажда зла***

В жажде творчества есть много от жажды познания, неутолимого алкания нового, исчерпания и завершения опыта, и как неотделимой его части — жажды познания зла, стремления овладеть запретным Богом и опытом, запрещенным Уголовным кодексом, и «воинским», и божественным уставом, поскольку без такого опыта наше познание было бы неполным.

Всякий познает зло доступным ему способом: кто гением, кто злодейством, кто через моральное, кто через имморальное, вот почему зло неустраимо: оно необходимо связано с познанием и самопознанием, то есть с приобретением феноменального опыта и развитием личности, *страданием* ее в сансаре. В процессе же познания все моральные категории снимаются — с этим согласится самый закоренелый моралист.

В процессе познания человек превращает человеческий закон в божеский и божеский в человеческий.

Художник не совершает преступления только потому, что имеет возможность совершить (и совершает его) в своем познании, своем искусстве. На вершинах творчества и познания он идет только в одном направлении: от человеческого закона к божественному.

Но он совершает преступление перед собой, затягивая этот процесс своей преданностью к художественной форме.

Здесь художник жаждет творчества как зла.

### ***Оправдание зла***

Как бы далеко ни простирались границы зла, каковы бы ни были его завоевания в человеке и мире, я знаю: *последне-*

го, окончательного усилия зло никогда совершить не сможет, потому что для этого нужно великое *самопожертвование*, которого у него нет.

Жертвует только добро, Закон Божественный закону человеческому, через который закон человеческий *прирастает* добром. Если добро не жертвенно, оно зло.

### ***Вечность вымысла***

Почему не умрет роман, повесть, рассказ, литература, искусство вообще? Потому что человеку мало говорить от одного — своего — лица (которого у него часто нет); ему нужно говорить от многих лиц потому, что он ищет собственное лицо, личностных идентификаций, а для этого ему всегда нужны маски.

Если у человека много лиц, и маска одного лица ему тесна, он выбирает *искусство*. Остановившаяся личность не может, в границах одного лица, изменить даже этого лица, поэтому ей всегда нужна изнанка. Ужас беснующегося актерства в том, что оно вечно мечется между личностью актера и его ролью, ищет одновременно и собственное лицо, и маску, часто не находя ни того, ни другого. В одном «я», усилием одного «эго», с этим не справиться, всегда остается что-то недосказанным, недочувствованным, недоявленным; инерция одного лица прорастает ложью.

Нужны десятки, сотни, тысячи лиц, чтобы стать наконец *одним* лицом, *одной* личностью. Чтобы отказаться затем и от нее, понять ее заблуждение. Личность для своего самовыражения нуждается не в одной, а в многих вещах, многих ликах потому, что ее *нет*, но человек не знает этого; если бы лицо и личность были одним, они бы выразались одним словом, одной вещью.

Поэтому лицо носит *маски* — маски остальных «я», других личностей, которых у него нет. Которые составляют его мнимую «личность» и называются *личиной*.

И всегда остается еще читатель, слушатель, зритель, которых тоже больше, чем один. И вне, и *внутри*. Если этот

читатель и зритель ты сам — во сколько раз тогда увеличится число твоих масок? Писатель и читатель хотят познать все, стать всем: женщиной, ребенком, слоном, травой, деревьями, собакой. Иногда они хотят стать хоботом слона, но больше всего они хотят стать преступником и преступлением.

Потому что они жаждут зла как бывания, зла как самообнаружения, зла как самоутверждения, а в итоге — как саморазоблачения и саморазрушения.

Иначе как мог быть завершен их опыт — без познания зла в зле? В искусстве, как и в жизни, зло человеком познается самим собой, из самого себя. Достаточно только надеть маску самого себя, своего несуществующего «я». В истинном понимании, в совершенной религии не нужно быть всем этим, носить маски зла, чтобы быть самим собой.

В религии Духа оставляешь все *личины*.

### ***Как летом роем мошкара летит на пламя***

Вот летит мошка. Летит вправо, а не влево, туда, а не сюда. И это не вызывает у меня моральных суждений. Где здесь место божественному или «насекомному» закону? Бабочка или мотылек летят на огонь и погибают в нем — это тоже не вызывает у меня никаких возражений. Это зачем-то *надо*, природа *знает*. Я не могу поверить, что это зло даже для бабочки — погибнуть в пламени свечи: настолько ее полет чем-то оправдан, вызван, *определен*. Чем? Почему всякое зло, происходящее не со мною, мне кажется *необходимым*? Почему оно представляется всегда *божественным*?

Почему зло становится *моральной категорией*, когда оно задевает лично меня? Почему землетрясение, безнравственное поведение человека, террористический акт, хаотическое движение вооруженных до зубов армий где-то на краю света почти не трогают меня, а мои тревога и моральное сознание растут лишь по мере их приближения к моему

«я»? Разве движение воинских подразделений и гибнущие в огне люди — не те же бабочки и мошкара? Разве я сам не бабочка?

Потому что зло другого, в другом, с другими я познаю вне своего «я». Зло вне моего «я» *внеморально*.

Созерцать себя как мошку над пламенем свечи, бабочку, не знающую мысли о гибели — истинный дзен. Это значит созерцать в себе Божественный Закон.

Но для этого нужно избавиться сначала даже от *мысли* о пламени.

Художник одновременно и пламя, и бабочка, поэтому он не преодолевает зла.

### ***Моральность зла***

Когда-то Толстой на вопрос, что такое добро, резко ответил: это нераспознанное зло.

Постоянное присутствие так называемого зла в каждом атоме бытия, его напряжение, энергия, сила, его божественная слиянность с добром, его тончайшая нравственная мимикрия, самая его обязательность для проявления добра, заставляют нас признать его необходимость, больше того: его моральность — как кристаллизующей силы этики, как движущей силы добра и свободы, как условие морально-ного фактора вообще, наконец, — как основополагающий принцип универсальности сознания, которое остановилось бы в коллапсе перед миром явлений, не будь у него этих моральных категорий, — как бы застыл в параличе разум перед миром феноменов, не будь у него категорий времени и пространства.

Зло и добро релятивны для Бога и абсолютны для человека. Зло достигает своего совершенства в добре, совершенный грешник — святой. Добро достигает своего апогея в зле, совершеннейший святой — грешник.

Когда закон человеческий и закон божеский совпадают.

Когда наше чувство «я» больше не разделяет их.

**Неизменная изменчивость**

*Понятие одного возникло  
из сознания себя одним  
среди бесконечного.*

*Толстой*

Понятие «другого» возникает в утрате человеком ощущения бесконечного, ощущения присутствия Бога.

Бердяев: «Личность есть неизменное в изменении». То есть, личность есть нечто постоянное в изменяемом мире, неуничтожимое при любых обстоятельствах. Каким образом в этом океане изменчивости может сохраниться нечто непреходящее и постоянное? Во всяком случае, это будет не «личность», наполненная всеми характеристиками изменчивого бытия.

Удивительно, как человек привержен личностному опыту, всей фантазмагии сансары, которая наполняет его. Человек не замечает, как все, что он в конечном счете отрицает как обман, иллюзию и страдание, и составляет багаж его так называемой личности; никаких других «вечных» координат для определения ее попросту нет. Последовательное устранение из «личности» всех ее сансарических признаков оставляет ее ни с чем. Она превращается в *пустоту*. Что же человек называет в таком случае «личностью», «душой», «духом», «личным» Богом?

Стремление быть, которое тоже возникает из ощущения себя. По пути он еще обставляет эту жажду декорациями — «добром», «любовью», «вселенной», внешним Богом.

Тогда нужно просто спросить себя — чем мы были *до* бытия, чтобы расстаться с этим заблуждением «личности».

Почему мы не видим — чем? По-видимому, потому, что не знаем того опыта, который наполнял нас. Вне опыта нет личности. Личность и ее опыт — одно.

Самое постоянное, с чем бы могли отождествить себя в мире — это с законом вечной изменчивости, постоянного изменения, но, боюсь, от нашей «неизменяемой личности» тогда ничего не останется.

Но человек такая шутка Господа, что он и из этого «ничего» построит себе «личность» и «душу», и «Бога», и «родину», и «свободу».



Вот в каком смысле я говорю о преодолении «личности».

Как о преодолении в себе противоречия между человеческим и божественным законом.

Когда они разделены, чувство «я» растет в среде человеческого закона и умалется в сфере божественного.

### ***Жажда аплодисментов***

Театр нашего «я» жаждет признания, жаждет славы — это значит, что «я» жаждет прежде всего зрителя. Через зрителя оно начинает *быть*. Оно приветствует в этом театре любую чернь, любого зеваку и, конечно, радо будет приветствовать в нем Бога как самого Высокопоставленного Зрителя и Режиссера. Поэтому мы зазываем Его всеми средствами.

Как правило, Он является только к концу спектакля и занимает самое почетное место в партере. Но Его снисходительные аплодисменты — самые желаемые, самые приятные. Потому что они — последние.

Если этот последний зритель Его антипод — не делаем ли мы и его Богом?

Бог превращается в Дьявола всякий раз, когда мы превращаем божественный закон в человеческий, а это происходит с нами всякое мгновение, когда мы поощряем в себе «личность».

### ***Детям о взрослых***

*Смерть поэтому, может быть, есть только перенесение сознания из отдельной личности в более обширное существо, включающее в себя отдельные личности. И это вероятно потому, что вся жизнь человеческая есть только все большее и большее расширение сознания.*

*Толстой*

Толстой говорил, что слова истины убедительны только в том, кто отрицает в себе личность. Действительно, каким

образом что-либо исходящее от «личности» может быть справедливо и морально, просто человечно?

«Жизнь, какую я сознаю, никак не есть жизнь моего „я“. „Я“ иллюзия, нужная для этой жизни, но иллюзия — как бы лесá, подмости, орудие для работы, но не в нем самом работа. Напротив, перенесение интереса на него — на „я“ — губит, останавливает работу», — пишет Толстой в «Мыслях».

Все, что эманурует в мир наше «я» неизбежно оказывается под подозрением. В «Исповеди» Толстой говорит, что на него часто находили «минуты недоумения», провалов, «остановки жизни», как будто он не знал, как ему жить, что ему делать. Эти остановки жизни, говорит он, всегда выражались одинаковыми вопросами: зачем? ну, а потом?

Эти «остановки жизни» — обморок нашего несуществующего «я», зияния в духовном теле, когда человек, осознавший гибельность эгоизма и активно нравственно развивающийся, еще не обрел твердой опоры, а «я» уже потерял или теряет. Тогда начинается мучительное раздвоение, разрыв личности, осознание конфликта между божественным и человеческим.

Зрелость духа наступает не раньше освобождения от чувственности. Так говорит нам элементарный духовный опыт. Как может жить в Боге эксплуатирующий свое и чужое тело? Как может жить в духе эксплуатирующий интеллект? Но мы хотим объединить их, дух и тело, больше того: на самом деле мы только тело называем духом. Оно *вдохновляет*.

Хваленое чувство «идентичности», параметры нашей «личности» в которых она жестко определена во времени и пространстве, исходит именно из тела, по крайней мере, у большинства, и с этим связано все зло пребывания «личности» в мире. Хотел бы я знать, что бывает с этой «личностью», когда она анестезирована, распластана под ножом хирурга, а затем — прозектора. Когда вся боль и память на кончике ножа.

Более продвинутые называют «личностью» набор ментальных свойств, которые еще менее устойчивы, чем физические. Цвет глаз дан мне пожизненно, а чувство любви — нет. Когда объект привязанности становится объектом отвращения, зна-

чит ли это, что моя личность изменилась? Когда все привязанности и жажда, пройдя через ненависть и отторжение, остыли, стали безразличными, а потом и вовсе забыты — с какой «личностью» мы имеем дело?

Талант иссяк, красота увяла, темперамент погас, не осталось даже шрамов в душе, ни воспоминаний в слезящихся глазах старика.

В распадающейся личности остается все меньше и меньше отождествлений и самоидентификаций, а потом они и вообще сходят на нет. Что уцелело надо всем в разрухе времени? Только тело, но и оно уходит. Что и с чем тогда идентифицируется в живом еще существе? Означает ли невозможность идентичности и идентификаций отсутствие личности? Или только новое ее обличье?

По-видимому, «идентичностью» (*саккая*) самые честные из нас могут назвать только память, моментальное или текущее содержание сознания, ситуативный (оперативный) набор свойств, который используется нами то в том сочетании, то в этом, всегда в выгодной для себя комбинации — то есть для обмана себя и окружающих, больше, разумеется, себя, чем окружающих.

«Прошлая» память уже не кажется нам *актуальной* личностью. Пытаясь заглянуть во внутреннее зеркало, мы там не увидим ничего, что не изменялось бы и не погибало каждое мгновение и что действительно бы принадлежало нам.

Тогда наступает первое прозрение: «личность» ничего не может *присвоить*, включить в состав своей «неизменной» субстанции, которой бы она хотела быть, но не может, потому что не находит идентичности ни в чем.

Главное открытие состоит тогда в том, что жаждущий постоянства нигде, во всей вселенной, не может обнаружить объекта постоянства, следовательно и ощущения постоянства тоже. А личность он считает постоянной. В каких непреходящих характеристиках тогда вы определите себя-ощущение, «неизменный принцип», «душу», если ни один из объектов не оказывается неизменным?

И тогда вы понимаете, что «личность» вне объекта идентификации не имеет бывания, и что все самоидентификации,

кроме идентификации с вечным и неизменным, то есть идентификации с Богом, оказываются ложными.

Но и в этом случае человек неизбежно возвращается в свое «я», потому что изначально исходил из него. Тогда он решается любить Бога больше себя, чтобы умалить «я», но и это ему не под силу, ибо самую жизнь «Богу» дает наше «я», наше сознание себя. Где выход? В уничтожении «я». Может тогда, за его все заслоняющей декорацией, увидим и истинного Бога.

Конфигурация жизненных заблуждений меняется день ото дня, от мгновения к мгновению, в пыли и сумерках времени нельзя различить ничего устойчивого, незыблемого, непреложного, и тогда даже сам «наблюдатель», зрящий непостоянство, уносится непостоянством. Что он видит?

Я хочу еще раз выразить эту предельную, последнюю, окончательную мысль: как я могу ощутить свое «я», свою «личность», свою бессмертную «душу», не идентифицируя ее с чем-либо постоянным — а я не могу идентифицировать ее ни с чем, что не является непостоянным и преходящим — все в мире является таковым. В каких неизменных координатах она может быть определена, если все координаты — изменчивы?

Когда чувства и их вечные претензии на «познание» успокаиваются, чем она является тогда для тебя, твоя «личность», твоя «идентичность», твоя «душа», твой «Бог», как не иллюзией разорванных в клочья облаков, толпящихся на горизонте внутреннего зрения и превращающихся в ничто?

Все, что до поры помогает связать этот хаос мира в мнимое единство — это мое заблуждение, мое тело, мое чувство «я», при распадении которых распадается и заблуждение раскаленного хаоса моего «я».

Жить без «я», но с постоянной ложной потребностью в «я» — мука. Это и есть основа мирового страдания, в котором движется сансара. Страдание мира и страдание «я» может быть преодолено только с преодолением самого «я». Сознание, лишенное сознания этого «я», становится сверхсознанием, *бессознательным* воплощением Божественного Закона. Человеческий закон преодолевается с преодолением «я».

*Когда волнуется желтеющая нива*

Вихри ложных самоидентификаций — в них вращается и кружится человек, не зная ни отдыха, ни покоя. Можно с уверенностью сказать, что длина жизни человека измерена числом его безуспешных попыток отождествиться с окружающим.

Плотность этих неудачных повторений определяется его темпераментом, чувственностью и заблуждением. Заблудший человек именно «сжигает» жизнь на огне своего неведения. Как это происходит, показано Буддой во многих суттах Палийского канона.

Побуждаемый приятными, неприятными, и нейтральными ощущениями, человек влечется к приятным ощущениям как к спасению, они порождают страдание, он снова ищет избавления в чувствах — и опять *дуккха* (неудовлетворенность, боль), придвигающая его все ближе и ближе к концу.

Человек пожираем приятными и мучительными формами, приятными и мучительными звуками, приятными и мучительными запахами, приятными и мучительными вкусами, приятными и мучительными осязаниями, приятными и мучительными ментальными образами.

Они приходят из темной глубины нашего кармического прошлого и жаждут жизни. Существа *реализуют* их, а они *реализуют* существа. Подобно раскаленной в кузнечном горне болванке, человек бросается на наковальню и обрабатывается молотками кармы. Словно ячменный сноп, избиваемый шестью цепями, шестью ловкими работниками, в превосходной метафоре Будды, человек безжалостно обмолачивается шестью *индриями*, чувствами и разумом, пока не будет обмолочен полностью.

Приходит седьмой работник, с седьмым цепом, и доделывает то, что не доделали другие.

Этот седьмой — самый страшный, самый безжалостный, самый угрюмый, самый добросовестный работник кармы — никто не миновал его. Это — мысль человека о Боге, о будущем райском существовании, которая пожирает человека без

остатка. В самом деле, страсть к наличному существованию еще не полностью поглощает человека. Только для элементарно чувственного, элементарно интеллектуального индивидуума довольно бывает пяти чувств и рассудка, чтобы без остатка поработить его и предать мясорубке сансары.

Но за *духовным* человеком, с которым не справились первые шесть, приходит седьмой — и не оставляет камня на камне от его свободы. Мысль о вечном существовании за гробом пожирает остального — оставшегося — человека без остатка, и он умирает с ней.

Бог, понятый как *личная* форма, личный рай или ад — против этого протестовал всю жизнь Толстой. Бог как будущее наслаждение, как обещание чувственности — самая земная, безбожная, атеистическая мысль. Бог такого человека — просто его маленькое «я», разжиревшее до чудовищных размеров и помещенное на небо.

Так, обмолоченный дотла ячменный сноп, с обрушенным зерном, с иссохшим семенем, стоит посреди поля среди других снопов, вздыхая о ниве.

### ***Иллюзия Бога***

«Я — неполное сознание Всего, — пишет Толстой. — Полное сознание Всего скрывается от меня пространством и временем. Пространство и время лишают меня возможности сознать Все».

Характерно, что здесь Толстой не берет «я» в кавычки, очевидно отождествляя Я не с чувством «я», а со всем Я, со всем своим существом. Все Я — как ограничение Всего, Всего Бога: нужно ему, этому Я исчезнуть, чтобы был ВЕСЬ БОГ.

То, что пространство и время скрывают от нас Все, означает только то, что иллюзия «я» проявляется и действует в другой иллюзии — пространстве и времени, — и с устранением одной из них, устраняется другая. Или, скорее, иллюзия только одна — наше «я», порождающая все остальные иллюзии. Если мы иллюзия, и иллюзия эта — часть Бога, то Бог сам должен лишиться себя иллюзии, чтобы мы *были*.

Чтобы Он был САМ.

## ***От бездны к бездне***

Человек от рождения идет от бездны к бездне: от бездны рождения к бездне существования, от бездны бывания к бездне смерти. Из бездны матери он попадает в бездну отца, из бездны отца — в бездну сына. Из бездны женщины он попадает в бездну семьи, из бездны семьи в бездну страны, из бездны страны в бездну толпы, из бездны толпы в бездну «я», из бездны ненависти в бездну любви, из бездны нежности в бездну злобы.

Всю жизнь он переходит из бездны неведения в бездну знания, а между ними — все время пребывает в бездне познания.

Последняя бездна, в которую он попадает, это бездна самого себя, обнимающая собой все остальные бездны. Всякая бездна бездонна: бездна блаженства и бездна страдания, бездна отчаяния и бездна надежды. Самая страшная — бездна кармы, которая и есть бездна «я».

Все бездны — это кармические провалы, зияния последствий прошлых рождений, прежних бываний, обмороки несуществующего «я», переживаемые в этой жизни как пустоты наслаждения и боли. Из каждой новой бездны выходит новый человек, оставляя кармические изживания в прежней бездне.

В последней бездне будет последнее знание, последний Бог, последняя любовь, последнее наслаждение.

Последняя бездна — это бездна «Я», осознавшего Божественный Закон, в котором будут похоронены все кармы, все бездны, все боги, все блаженства, весь эрос, все маленькие «я».

Бездна между божественным и человеческим законом в человеке — это бездна его маленького «я», в которую проваливаются все остальные бездны.

## ***К трансцендентальной этике***

У истинной добродетели не социальные, а *метафизические* основания: отрицание своего «я» не в интересах другого «я», ради чужого «я», а вследствие понимания, что никакого «я» и «они» вообще не существует. Это снятие «я» происходит в процессе *понимания*, в результате *познания*.

Проявлять свое *злое* — значит просто утверждать свое мнимое «я», то есть, утверждать иллюзию «эго», чье самоутверждение достигает максимального выражения в этом злом; проявлять *доброе* — значит, в максимуме, просто отрицать свое иллюзорное «я», значит идти по пути разоблачения этой иллюзии: в добре энергия «эго» ослабляется, теряет свое «зло», хотя и не исчезает полностью.

Быть «по ту сторону добра и зла» — значит просто осуществлять действие без «я», без упований «я». «Дао совершенномудрого — это деяние без борьбы», — так формулирует Лао Цзы путь освобождения от чувства личности. Личность именно *борется* — за свое бытие, за свое признание.

Не совершать ни того, ни другого, опасаясь быть связанным «я», эманулирующим этические категории, — значит все еще обладать иллюзией «эго», страхом несуществующего «я».

Действовать в мире *свободно*, то есть без «я», в какие бы иллюзорные образы и свойства эти действия для мира ни облекались, — значит быть свободным от представления о добре и зле, значит быть свободным от добра и зла — значит быть по ту сторону *обоих*.

Божественный Закон перестает быть таковым и становится просто свободой, когда мы отказываемся от *обоих*.

### ***Посеянное при дороге***

Где были все эти горячечные, слепые, хромые, прокаженные, расслабленные, бесплодные, одержимые бесом, кровоточащие, которых Он исцелял? Где были сами апостолы, верные ученики Его, когда Его прибывали к кресту? Где была Его мать Мария, о которой лишь вскользь упоминает Иоанн?

«Посеянное при дороге», так надлежит называть их всех, неблагодарных, оставивших и оставляющих Учителя.

Кто они, все эти верующие, якобы следующие за Ним после распятия? В двухтысячелетней истории сколько найдется действительно верных, которые последовали бы за Ним не *после*, а *до* Воскресения? Да и после Воскресения многие ли последовали?



Везде и всегда один и тот же тип нетерпимого, хищного, лживого, хитрого, жестокого, несправедливого, злого, умеющего и через тысячелетия прикинуться своей противоположностью — из распинающих будто бы в распятых, из проклинающих — будто бы в проклятых, из убивающих — в убитых. Инквизиторы, сжигающие во имя божье: это же совершенно те же самые первосвященники, Пилаты, Иуды, Петры, распявшие Христа; уныло покорствующие, стоящие в храме со свечкой, проливающей лицемерную слезу — это те самые, что подавали Ему смоченную в уксусе губку, кто об одежде Его метали жребий.

Он сеял при дороге, и сонмы бесплодных колосьев, сорняков и плевел проросли в веках. И заполнили житницы Его. Но пуста будет всякая житница от пустых семян. Проститутка у подножия креста да два разбойника рядом, да палач, тычущий копьем в ребра, — вот подлинная драма духа, которую вечно наследует история.

Это сокровенная тайна Евангелия. Истина всегда на кресте, в окружении падших. Они, а не праведники в глазах мира, будут собраны в житницу. В отсутствие близких и учеников.

Пусть же по-прежнему колосится грешное семя и приносит добрый плод. *Праведные* не войдут в рай.

### **Основной инстинкт**

В чем смысл целомудрия? В *целостной* мудрости, в едином и нерасчлененном сознании, не допускающем разделения на «субъект» и «объект», «мужчину» и «женщину», «я» и «они», «форму» и «содержание».

Можно сказать, что в противостоянии сексуальному влечению испытывается не просто человеческая верность духу, но его верность Богу, преданность Единому. В подчинении или неподчинении человека «основному инстинкту» я вижу начало и конец его рабства природе и Богу. Здесь начинается буквальный и фигуральный распад личности, хаос эмпирической и метафизической множественности.

В преодолении либидо преодолеваются диссоциации «я» и мира. Достоинно удивления, что родившееся в результате этого

гносеологического обмана «дитя» (плод) — дитя именно *воображения*, майи, вселенской иллюзии, воплотившейся в новорожденном существе. Он любит его безмерно. Как дитя своей иллюзии, своего метафизического падения.

Преодоление мировой иллюзии двойственности равно по своей сложности преодолению любви ко всем чадам не только этой жизни, но и всех жизней, которые прожил человек в своей истории, — ко всем чадам, которых оставил человек в сансаре. Его ощущение «я» слагается тогда из ощущений «я» всех утраченных им детей.

«Основной инстинкт» — это инстинкт падения человека в двойственность, влечение к дуализму, совращение множественностью, в которой существа обретают свой окончательный недуалистический опыт.

«Страх второго» — это страдание человека от множественности, огорчение двойственностью. «Либи́до» — это стремление ко «второму», укорененное в сансарическом человеке ради его закабаления в сансаре, которого он не сознает.

Онтологически либи́до — это служение существ «воинскому» закону, а освобождение от него — начало служения божественному.

*Окончание в №251*

## ПОЭЗИЯ УЧАСТНИКОВ ПРАЖСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ

Леонид Поторак

### «Поздний плач по облетевшим листьям...»

Я родился в тысяча девятьсот девяносто четвертом году в Кишиневе, где и живу. Заканчиваю Лицей, занимаюсь литературой и живописью.

Участвовал и победил в республиканском литературном конкурсе «Взлетная полоса» в номинации «Поэзия». В Московском международном конкурсе-фестивале «Журавли над Россией» получил специальный приз жюри, опять же за стихи.

А уже год спустя летел в Лондон на конкурс поэзии русского Зарубежья «Поверх барьеров». Там я победил, вернувшись домой с «золотой медалью из чистого серебра» (честное слово, так и было заявлено: золотая из серебра!) и титулом «Король супертурнира».

Стихи были опубликованы в журналах «Русское поле» (Молдова), «Интеллигент» (США), «Белый ворон» (Россия), в московской «Литературке», в интернет-ресурсе «Подлинник».

В две тысячи двенадцатом году при поддержке Ассоциации Русских Писателей Республики Молдова и Россотрудничества вышел дебютный сборник стихов «В спичечном коробке».

Хочется верить, не последний.

**Маленькая летняя серенада**

*Не бойся, не сетуй на время,  
Его не натягивай струн,  
Пока, поднимаясь из тени,  
Дома выдыхают июнь,  
Пока из тумана не вышло  
Грядущее в сложенный стих,  
Твой путь заслужил передышку  
От поисков вечных твоих.  
Поверь, всё безумие света  
Не стоит покоя и сна.  
Любая дорога – и эта –  
Да будет чиста и ясна.  
Пока ещё ворохом линий,  
Сливаясь в неведомый лад,  
Проходят широкие ливни  
Как море, плывущее над  
Покинутой сушей, и лето  
Ещё не оставит жильё,  
Пока слепотою рассветной  
Затянута зреньё твоё,  
Окно открывая, узнаешь  
В лучах, расходящихся врозь,  
Что будущей улицей за ночь  
Пустой подоконник зарос.*

### Сверху вниз

*Не правда ль, было иногда,  
Что в час после заката  
Мы слышим, как летит Земля,  
Гонимая куда-то.*

*И если ночью мысль вольна  
Расстаться со стенами,  
Пусть нас несёт она туда,  
Где лайнер спит в тумане,*

*Где пассажиры стаяей птиц  
Глядят, как светлый остов  
Материки уходит вниз,  
Сворачиваясь в звёзды,*

*И все, кто есть внизу, кто ждёт,  
Порой того не зная,  
Ведут сквозь бездну самолёт  
Пунктиром ожиданья.*

*И есть одна, не всё ль равно  
Кто именно, которой  
Доверен воздух, ночь, окно  
И ровный гул мотора.*

*А впрочем, верно, не одна.  
Она подобна прочим,  
Мы не знакомы с ней, она  
Лишь единица ночи,*

*Глядит, как меркнет ряд огней,  
И тьма в окне всё шире,  
И твердо знает — дело в ней,  
Одной не спящей в мире.*

**Вечер за городом**

*Пространство ширится и множится,  
И время, вспыхивая медью,  
Над ним полынью придорожною  
Склоняет тёмные соцветья.*

*А небо вычерчено курсами,  
А в небе движутся армады  
Воздушных кораблей, без устали  
Палящих, сумрачных, крылатых.*

*Всё в жизни видится и виделось,  
Все жизнью движимы — и пусть их.  
В пространство прорастает жимолость,  
И запах трав сильнее грусти.*

*Так, не пробившие пока ещё  
Земную твердь, лесные ивы  
Над миром нависают завтрашним  
Никак не названным, счастливым...*

### Театральное

*Как причудливо карты ложатся... непросто поверить.  
Позапрошлого века сюжет: встреча в зрительном зале.  
Этой пьесы едва ли смотрели мы первую четверть,  
А быть может, и сами того не заметив, играли.  
И откуда бы взяться в наш век театральным романам,  
Менестрелям, бормочущим музы горчащее имя,  
Впрочем, много ль мы знаем о веке? Достаточно мало,  
Чтоб не знать, чем окончится будущий акт пантомимы.  
Надо выпить до дна этот день — за пасьянс, что сошёлся,  
За тебя — вечно светлую музу, за встречу с тобою,  
И за будущий день, чем бы нам ни грозили прогнозы.  
И за прошлое выпьем.  
За здоровье.  
Как за живое.*

\* \* \*

*И только посреди ночных огней,  
День завтрашний прожив в воображеньи,  
На рельсах ловишь ухом приближенье  
Немыслимой громады новых дней  
Стократ огромней прожитых мгновений,  
И вечность погружает шар земной  
В вечерний час, должно быть, для молитвы,  
И — Боже мой! как краток свет дневной,  
И — чёрт возьми — как много нам открыто!  
...Звенит сверчок, как поезд за спиной.*

## Южная ссылка

### 1.

*В сентябрь время движется полого,  
Осенние цвета темней и гуще,  
В пыли и зное кишинёвская дорога  
Бежит, связуя прошлое с грядущим.*

*А на обочине, вне временного хода,  
В пыли, что поднял жаркий южный ветер,  
Стоит усталый генерал пехоты  
И смотрит вслед отъехавшей карете.*

*«Ну вот, уехал юный подопечный...  
Опять покой настанет в Кишинёве,  
Никто не будет всем подряд беспечно  
Слать вызов на дуэль, поймав на слове.*

*Что вольнодумье! — юности забава.  
Я верю, ждать уже совсем недолго:  
Конечно, впереди большая слава  
И томик Пушкина у каждого на полке.*

*Ещё чуток — глядишь, остепенится,  
Накопит денег, будет жить как люди...  
Наездится ещё по заграницам,  
А про Молдавию и думать позабудет.*

*Жизнь в Петербурге, слава и богатство,  
Признание Света — редкая удача...  
Такой талант рождается не часто.  
Он будет понят — ведь нельзя иначе.*

*Он будет счастлив, это твердо знаю.  
Вот Пушкин в старости — всё так же быстр и точен,  
Сидит он в кресле, голова седая...  
А может, лысая?» — и генерал хохочет.*



— Пора, Иван Никитич, на квартиру.  
Остынет всё. Смотрите — уж двенадцать!  
...Пылит дорога. Человек в мундире  
Усталю обернулся к ординарцу.

Дела, дела рутинны бесконечной...  
Дела, дела губернии убогой...  
Ну вот, уехал юный подопечный.  
В пыли и зное кишинёвская дорога.

От нас сокрыто будущее время.  
Оно и к лучшему — зачем иное ведать?  
И старьёй Инзов, генерал от инфантерии,  
Вздохнув, отправился домой. Обедать.

## 2.

Снег летит. В стремительном круженьи  
Стен и мостовых мелькают спицы.  
Остывает площадь. Неужели  
Будет лето в северной столице?  
Неужели, кроме этих стылых  
Жёлтых улиц в облаке рассвета,  
Что-то было? Ну конечно, было.  
Вы, наверно, помните всё это.

...Август. Полдень. Степь в оцепененьи.  
Пахнут травы пылью, солнцем, хлебом...  
В дымку дня бегут полей ступени,  
И плывёт над головою небо.  
Что играет полевой оркестр  
Над землёй в лоскутном одеяле? —  
Звон сверчков уходит в поднебесье,  
Растворяясь в летней пасторали.

*Как стада приходят и уходят,  
Всё за край уходит, а за краем —  
Только неба голубой колодец  
И ковыль, и флейта полевая...*

*В долгой ссылке на далёком юге,  
Иде Овидий в летнем звоне ожил,  
Кажется, что петербургской вьюги  
В мире нет роднее и дороже.*

*Но — пора. Всему приходит время.  
Снег летит. Давно забыто лето.  
Секундант заснеженный отмерил  
Десять медленных шагов до края света.*

*Господа, пора стрелять. Забыли?  
И рванулся искрами из дула  
Скрип телег и запах летней пыли;  
Снова в южном зное степь уснула...*

*Как давно... как будто в прошлой жизни.  
Как давно. Сейчас уж и не вспомнить,  
Как ползли на холм пустые избы,  
По одной проваливаясь в полдень.*

### Оптимистично?..

*Легла мне осень новою строкою,  
Что сложится из пары слов: живое  
Созвучье ли, не сложится ль и слова,—  
Я всё живу счастливой верой в новый  
Грядущий день, и за строкою мне  
Мережится вдали стихотворенье,  
Ах, будущее — зыбкое строенье,  
Но наступленья нет его верней;  
Как ни крути, а будущего больше,  
И если стрелку не вертеть вперед,  
То и тогда — не раньше и не позже —  
Наступит счастья нашего черед;  
Не пропустил ли я тот краткий срок,  
Его присутствия?..  
Оставшаяся осень  
Так велика, что можно согнуть вовсе  
Под ворохом несочинённых строк.*

### Колыбельная

*Вот и кончился день. До рассвета окно занавесим мы,  
Наши шапки повесим на стены и снимем плащи.  
Видишь, снегом ложится за окнами звёздное месиво.  
Королевство уснуло, пропало, исчезло в ночи.*

*А в ночной темноте все далёкие кажутся близкими,  
Через пыль расстояний глядят в приоткрытую дверь...  
И забудется сон, и рассыплется ясными искрами.  
Но тебе это знать совершенно не важно, поверь.*

*Пусть тревоги минувшего дня поскорее забудутся.  
Замер шорох колес, и затихла последняя мышь,  
И уже опускается сон на забытые улицы,  
Королевство уснуло, а ты почему-то не спишь.*

*В этот день каждый верил в своё и на что-то надеялся,  
Гамлет думал, но так и не знает, что делать теперь,  
Дон Кихот завертелся в лучах ослепительной мельницы...  
Но тебе это знать совершенно не важно, поверь.*

*Как пластинку в ночном граммофоне, усталом и медленном,  
Небо звёздное вертит полуночный мир в колесе.  
Серенады закончились, слышишь, звучит колыбельная,  
И сияет звезда, и быстрее плывёт карусель.*

*А куда приплывёт — не узнать, даже думать нам нечего,  
Пусть ночные минуты бегут чередой фонарей,  
День приносит дела, там, глядишь, и недолго до вечера...  
Но тебе это знать ни к чему. Засытай поскорей.*

\* \* \*

*Я знаю, с ударом часов остается всё то же,  
И до новогодней, и после —такие же ночи,  
Но смутное чувство, с надеждой до ужаса схоже,  
Всё вертится, вертится в сердце навязчивой строчкой,*

*Ещё один год налетел сквозь вокзальную морось,  
Ещё один путь позади —не жалею о разлуке,  
Заходим, родные, не будем задерживать поезд,  
Махнуть бы всем тем, кто остался, но заняты руки.*

*Грядущего праздника слышится шаг торопливый,  
Проводим и встретим, и вдруг осознаем: как просто,  
Не рифмой одной, не одною любовью мы живы,  
И жизнь —невысокая, но драгоценная проза.*

*В охапке держа все и всех, без кого мы не можем,  
Со смехом черты новых лет замечаем друг в друге,  
Движение поезда с жизнью до ужаса схоже,  
За поручень взяться бы крепче, но заняты руки.*

\* \* \*

*...И вот уже ночь свой двенадцатый сон досмотрела,  
И время осеннее сушит потрепанный парус,  
И у обочин в канавах уже засыпают без дела  
Вчерашние новости, в жёлтой листве растворяясь;  
Ты слышишь, как тихо поёт под ногами дорога,  
И мчатся в воронку полночного неба машины,  
И мы за сиянием фар всё бредём понемногу —  
Осенней земли и ночного дождя пассажиры.  
Мы, люди, танцуем на шаре огромном и синем,  
Который качается, но из-под ног не уходит,  
И мы, пассажиры Земли, уезжаем из осени в зиму  
Со скоростью неба, воды и дождливой погоды;  
И нити ночных проводов опускаются склоном пологим,  
И звёзды, как фары, летят по натянутым нитям,  
Махнёшь им рукою — и время замрёт у дороги,  
Мигнет огоньками: сейчас подберу, погодите.*

## Питер

*Город, который видел историю. Город,  
Который и сам — история, и как бы мы ни хотели  
Отрешишься от этого, нам уже не суметь  
По-другому увидеть город, который,  
Если судить по «Всаднику» и «Метели»,  
Есть безумие, снег и воспалённая медь.  
Да в придачу корабль, знамя, немного печали  
И проклятая сырость. Я стою, пожимая плечами,  
На брусчатке легенды, без которой вполне смогу  
Жить и дальше. И, стоя на берегу,  
Я никак не пробьюсь корнями сквозь твердь гранита,  
Не успею вращать в эти мокрые плиты  
И как следствие — пожалеть, что опять пора  
Покидать и этот временный адрес.  
Вот ещё один город, и снова моя нора  
Заслоняет иллюминаторы, приближаясь  
И сжимая окно привычным обрывком мира.  
Но пока я ещё стою  
Здесь, на набережной, я вижу, как мимо, мимо  
Паутины линий метро и навек в строю  
Застывших колонн, мимо станций и мимо меня-дурака,  
И толпы пилигримов, добравшихся издалека  
До святая святых — исторических каменных крошек,  
Всё бежит, всё опаздывает какой-то заезжий Евгений,  
И выплакиваясь в серую дождевую взвесь,  
Перед глыбой Исаакия падает на колени  
И говорит: прости меня, Боже,  
Прости,  
Что я родился  
Не здесь.*

\* \* \*

*Ещё мне слышны шорохи винила  
Как ранний шаг по выпавшему снегу,  
Как скрип давно прогнившей половицы.  
А там, в потоке кольцевой орбиты,  
Пластинки чёрной оживает время,  
А в нём планеты, голоса и лица  
Встают живые и подходят ближе,  
И мне не разобрать, о чём бормочут  
И что над их трепещет головами,  
Довольно мне того, что я их вижу  
Идущих, перешагивая строчки  
Под облаками, сколотыми в знамя.  
И мне ещё легко представить этих  
Идущих, и назвать их как умею.  
Спокойно слышать шорох патефона  
И рисовать в воображеньи лица  
Пока звучат виниловые хрипы,  
Как ранний шаг по выпавшему снегу,  
Как поздний плач по облетевшим листьям.*



Наталия Хмелева

### «Гранью древнего кристалла...»

Мой родной город Измаил Одесской области, где я родилась в сентябре тысяча девятьсот восемьдесят девятого года.

В школьные годы стала лауреатом конкурса «Таланты твои, Украина!» Затем выиграла на олимпиаде и вне вступительного конкурса была зачислена на факультет иностранных языков и мировой литературы в ИГГУ.

В университете заинтересовалась влиянием Юнга на творчество Гессе, что привело к дальнейшему увлечению психологией.

Получив диплом бакалавра немецкого языка в мировой литературе, поступила в творческую мастерскую на курс к писательнице Анне Реал (Anna Real) в Народном университете города Эссена, а три года назад стала студенткой философского факультета имени Генриха Гейне.

Участница ежегодных литературных фестивалей: «Руді тексти» (Кривой Рог), «Межгород» (Одесса), «Каштановый Дом» (Киев), лауреат международного фестиваля «Русский stil».

Публиковалась в альманахах «Измаил литературный», «Каштановый дом», в ежеквартальном журнале Международной гильдии писателей «Новый Ренессанс».

\* \* \*

*Доведи до абсурда любое желание «со» —  
и построишь конклары, темницы. В стенах их стократно  
нарастают слова. Приближается чьё-то лицо.  
О, ничто мне так близко не стоит разглядывать, брат мой.  
Что за мошка на белой стене? Не убить, не обидеть,  
поздравлять её с каждым наставшим пронзительным днём!  
Я смотрю в точку выше твоей головы, чтобы видеть  
расстояние от рыжей макушки твоей — до неё.  
Как стремительно, страстно оно исчезает, уходит,  
Ты растёшь к доброй воле слепой и беспечной сестры.  
К этой маленькой мушке, присевшей на стенке при входе,  
никогда не узнавшей забавной и хитрой игры:  
что-то в куполе неба вытягивает растение,  
будто ждёт их к себе, но в пути они буйно цветут.  
...Я не вижу в тебе: сладострастия, праздности, лени.  
Отрицаю в тебе: немоту, суету, темноту!  
И, не видя (слепая), я верю, что вовсе не поздно  
оторваться в полёте от жадной и тёплой земли...  
Там, где мушка сидела, ты стал уже метр девяносто,  
человеком высокого роста, мой брат — исполин!*

### Улитка

*Брошенным чудом в песчаном хаосе белом  
вменяет улитка себя рассматривать после дождя.  
Смотри, отец, как легка её ноша, но медленно тело,  
как её с миром связывает рецептор,  
— нежный, трусливый, как её брюшко цепко,  
как изъеденный ею лист, шелестя,  
сбрасывает обузу на дно ладони —  
а она бежит в свой утробный домик,  
и под врожденной крышей, смешной и тонкой,  
превращаясь вдруг в твоего ребенка,  
слушает, как над ней  
небеса летят.*

*Лик человекообразный моим несчастьем  
станет в тот день, отец, когда оборвёшь  
со-бытие, умирание и со-участие  
между землёй и тобой, превратившимся в дождь.  
Ведь с этих пор мы, немые и дикие к слову,  
станем молиться Сварожичу — Дый — Коляде,  
детям, хозяйствам, телам — но не первооснове  
палок, плугов, стариков и детей, лошадей,  
всяких сластей, и людей, и ещё не людей.  
Здравствуй в неведомых землях, на диких просторах,  
в горьких плодах недоступных червишкам садов,  
в вечном влечении, скорых и радостных спорах  
дивных растений, симфониях животов,  
музыке нутряного и дикого танца,  
в акте которого каждый рождается в мир.  
В той между нами —  
оплаканной нами — дистанции,  
из-за которой  
мы стали людьми.*

\* \* \*

*Всё сохраняется...  
Даже каштаны в твоей ладошке,  
двадцать лет назад упавшие с крон.  
И, когда чернеют фамильные вилки, ложки,  
и расступится морем иная утварь — люди ищут  
порталы в замки,  
где ничем нельзя обладать, кроме консервной банки,  
из которой дети делают телефон.  
Желудь с шапкой, грецкий орех и солнце  
в пыльном просвете крыши, как мёд, коричневой.  
Самое нужное, знать, нам остаётся  
для обустройства дома: впервые — личного.  
Радость бездомным! Вечный покой бесприютным!  
Тлеют, как торф, потолки, размывая предел.  
Но почему я боюсь не пространств безлюдных,  
а человека, чью жертву никто не презрел?  
Более всех  
приволий пустых и белых —  
тех собратьев, чья жертва не догорела,  
я утрашилась, брат, и дары в корзине  
превратились в дым уходящий синий.  
Но хранится в пригоршни цвет акаций,  
жизнь назад добытый с весенних крон.  
Думала, что истлели, что только снятся,  
прихожу в тот дом, куда чад поднялся,  
а сады цветут..  
...по-прежнему широко.*

### Око

*Выходят дети из дому — за пищей,  
За молоком, затем, что стало тесно  
В родном гнезде, среди знакомых песен,  
Но им уже назад не возвратиться.  
А в старом мире станет меньше дел, и  
И где-то им дадут иной язык —  
Инструментарий брошенного тела,  
Добавочный, как усики лозы.  
Ведь так, убив отцов, нашли тотемы,  
Корова, вол, лиса — в период зим  
Не заменив богов, украсят стены  
Прачеловека, грезящего Им,  
Чей неподвижен рот — я для него  
Играю гранью древнего кристалла,  
Но тихо умирает существо,  
Которое за мною наблюдало.*

\* \* \*

*Есть ребёнок, хранящий портреты случайных прохожих  
в том углу, о котором не знает отец: в самом дальнем углу  
есть ребёнок не спящий, играющий, позже  
в своей спальне читающий вслух.  
Через зрелость и старость, когда мостовая устанет,  
а отец не придёт, и потянутся медленней дни,  
в неподвижных, как рты их бумажных хозяев,  
квартилах,  
уже ждёт существо, наблюдающее за ним.*

### Сад

*Этой весной одна молодая слива  
Вышла замуж за нескольких воробьёв.  
Петрушка качала стеблём неодобрительно,  
И видно было без театральных биноклей,  
Как на кустах малины плоды засохли,  
Но слива была проста и совсем не мнительна,  
А значит, никто не смог бы смутить её.  
Но всё древесное общество зашумело,  
Бросая тень на перья троих мужей.  
Какие нынче нравы, ах что за девы!  
Чем дальше в сад, тем меньше всё о душе.  
Но птицам было солнечно, было вкусно,  
О сердцееды, что, же вы, на беду,  
Так любите трепетно, искренне и искусно  
Матриархат, хтоническое искусство,  
Антропологию, парковое искусство,  
И утром, сидя в кроне, трещать о чувствах,  
Пока не кончатся сливы во всём саду?!*

### **Заброшенная усадьба**

*Через много лет после смерти хозяев,  
В солнечный день —  
Словно осени отгоревали уже, отплакали  
Все кувшины стоят на месте том самом, где  
От уюта скатерть вдруг — расцветает маками.*

*Как спокойны и как же вечны порою вещи!  
Всё, что мной дышало, завтра утратит знак  
Моего присутствия, будто другим завещан  
Сад, и иная их, неведомая их весна.*

*Так саднит измена страстью тоскливо-ранней:  
Сводит вместе шёпот «жизнь» и глагол «потребовать»,  
Погляди, как дом обретает своё дыхание:  
Он шагает в зелень, будто потерь и не было.*

*Уникальный код, прогнивший в пустой глазнице,  
Призывает вёсны. Но повторим ли Взгляд  
Существа, всегда готового появиться  
Из любой любви, которой пора назад?*

*Но однажды (Твой завет!) так случится, возле  
Себя соберёшь фракталы в одном строю.  
Только если мир иным продолжится после,  
Тогда что есть точка, где я сейчас стою?..*

### Сартр и Кац

*Как-то жил в отеле юный бездомный Сартр.  
Он снимал там номер с окнами в зимний сад,  
где паркетный пол собой отражал закат,  
и был тих закат.*

*А снаружи жизнь, творимая пиар-стендом,  
молоточком шпилек  
злила слепой асфальт,  
и столичные штучки в шляпах из секонд-хенда  
пробежали мимо, шли в «Антиквариат».  
Нелюдим и тих, не знал он, куда идти,  
но зимой на месте не постоишь, и просто  
по фракталам звёзд скрипучих  
он шёл один,  
как и все из стран,  
где сны продают в киосках.*

*Как-то жил в отеле  
юный бездомный Сартр,  
а его соседом был грузный и домный Кац.  
Они пили кофе в холле, ходили в бар —  
поглядеть на танцы.  
Обнажённые женщины пели и пили грог,  
и ржавело Сартром брошенное перо,  
по колено море, друг, поджимает срок,  
нам пора прощаться.*

*Мы живём в отелях,  
в шишках, в кустах рябин,  
однодневки — мушки. Думаю, Бог расстроен.  
Ведь матрац твой, Кац, а ты — на него копил —  
пережил тебя,  
товарищ мой, где-то вдвое.*



\* \* \*

*Пой мне!*

*На новом ложе мне снились старые сны  
О диких зверях, арабских странах, ларцах резных,  
О том, как в ветках сирени твой дух живёт,  
Ягнёнок сонный неспелое небо пьёт,  
О странном танце колких, холодных вод  
Над каждым бездомно-вольным.  
В живом диалоге со всеми и всем вокруг  
Услышать в сердце еловой шишки стук  
И строить дом в ней — счастье или недуг?*

*Пой мне.*

*То скрипом дверным, то упрямым ночным сверчком  
Меня мне напомнишь, свет мой, и так легко!  
И можно воздух нежно ласкать рукой...*

*Пой мне.*

*И мы исчезнем, тихо уйдём на дно —  
Искать родные лица в обрывках снов,  
В рисунках камня, неба, в узорах нот,  
В прохожих! В окнах! В девять утра в кино,  
Но где живёт свобода — там никого.*

*Пой мне.*

Надежда Гейлова

### «В таинственном лесу своих желаний...»

Родилась и выросла в Москве, там же закончила педагогический университет — ранее Московский Государственный Педагогический институт.

Уже двадцать лет живу в Праге, работаю в чешской гимназии имени Я. Гейровского преподавателем, чехи обычно называют — профессором французского языка.

В юности увлекалась самодеятельной песней, люблю Окуджаву, Высоцкого, Клячкина и многих других.

Мне всегда нравилась лаконичность высказываний и замысловатая вычурность слова, любимые поэты — Блок и Маяковский, писатели — Чехов и О'Генри.

Читала свои стихи на литературно-музыкальных вечерах в пражских кафе. Там меня познакомили с писателями, которые уже напечатали свои произведения в первом номере журнала Союза Русскоязычных Писателей в Чехословакии, членом которого я с той поры и являюсь.

Так впервые мои стихи попали в руки читателям.

В две тысячи седьмом году была издана первая книжка стихотворений: «Обыкновенная история о любви».

\* \* \*

*Как скажешь ты: «Россия» —  
За этим словом вдруг  
Почудится: росинка  
И яркий летний луг.  
Как скажешь ты: «Расся» —  
То в этом слове ты  
Услышишь, мол: «Рассян,  
Влюблён до немоты».  
А если произносишь  
Простое слово — Русь —  
Перед глазами — осень,  
Берёзок стройных грусть.  
Родимая Россиюшка,  
Хоть как ни величай —  
Могучая ты силушка  
Да мудрая печаль!*

\* \* \*

*Трава колышется под ветром,  
И выстрадан её поклон  
Годами розового лета,  
Годами синих холодов.  
А ветер круче, ветер пуще,  
Ему бы рвать, ему бы гнать,  
Из самой потаённой гущи  
Ему бы тайну разузнать.  
Трава же скромно и покорно  
Пред властелином спину гнёт,  
Но всё же тайны той упорно  
Не выдаёт, не выдаёт...  
Так на Руси душевный лучик  
Никто не смог постичь, познать,  
Хотя к загадке этой ключик  
Весь мир пытался подобрать.*

\* \* \*

Говорят, что жёлтый да оранжевый —  
Тёплые, весёлые цвета.  
Отчего ж грустна так и обманчива  
Музыка последнего листа?  
Что ж он так тяжёл и холоден  
Запах серой, тлеющей травы?  
Почему и в самый яркий полдень  
Мне лучи седые не теплы?  
Где же ты бывало умиление,  
Где восторг? Мой взор уныл и пуст.  
Это осень принесла опустошенье,  
Осень жизни, осень дум и чувств.  
«Не грусти, ведь это лишь на время,  
После вьюг придёт опять весна!  
Как и лес, ты сбрасываешь бремя,  
Чтобы легче было после сна».  
Дай-то Бог, чтоб так оно и было,  
Бремя мыслей — это ж не листва.  
Дай-то Бог, чтобы хватило силы  
Мне в твоих увериться словах.

\* \* \*

*Я падаю ниц,  
В пахучую землю,  
И пение птиц  
Как исповедь внемлю.  
А ветер лепечет,  
Как проповедь кажет,  
Листвой что-то шепчет —  
Мне боязно даже.  
Как будто былых  
Времён ностальгия,  
Берedit мой дух.  
И боли иные,  
И тени веков,  
И предков безумья  
Вливаются в кровь  
И будят раздумья...*

\* \* \*

*Расплакалось небо сегодня —  
Не остановить,  
Как женщина, которой огня  
Не обновить.*

*Кто ж тебя небо обидел так сильно,  
Что мочи нет,  
Что льёшь ты слёзы бессилья  
Ему в ответ?*

*Не полыхнёшь, да не грянешь громом  
За всё и за вся!  
Лишь только тихим стоном  
Коришь, моросья...*

\* \* \*

*В таинственном лесу своих желаний  
Запуталась я, не найдя тропинки,  
И стрелами пылающих посланий  
Костёр разжечь пыталась я из маленькой искринки.*

*И светом звёздным озарив тебя,  
Хотела я, чтоб воспыхало солнце.  
Но может слишком много для тебя огня?  
А ты на свет привык смотреть лишь в узкое оконце?*

*Мои лучи светлы, прямы и чисты.  
Все тайны сам ты создаёшь тенями своих стен!  
И что бы ни было, останусь я звездой лучистой!  
Тебе ж, наверное, милей твоих строений плен!*

### Размышления о Праге

*Как описать тебя мне, Прага?  
Как каменную книгу с множеством страниц?  
Портретов галерею с тысячами лиц?  
Ручей истории таинственных криниц?  
Иль отголосок славы и отваги?  
Стобашенный и краснокрышый остров  
Среди лесов зелёных затаённый,  
В свою красу и мудрость погружённый,  
Европе внемля словно трепетный влюблённый,  
Поёживаясь от её суждений острых.  
Модерном стёкольным ты платье залатав,  
Как старая кокетка перед балом,  
Хоть зная, что ничто ведь не даётся даром —  
То-ль с лассо танцевать, то-ль с самоваром,  
Кружишь, из старых мыслей новые соткав.  
И перепутала ты в этой суматохе,  
Примеривая западный корсет,  
Позволь шепнуть тебе мой маленький секрет,  
Не знаю, может стоит, может нет,  
Восходит солнце, всё же на востоке!*



### Пражские тайны

*Чтоб подслушать тайну Праги изнутри,  
В «Золотого тигра» загляни.  
Шумно там до умопомраченья.  
Посиди, послушай изреченья,  
Jestli rozumíš<sup>1</sup>.*

*Море чувств и океан страстей  
Вдруг нарушат тишь твоих ушей.  
Как на берег бескрайнего залива  
Волны всеязычных слов обрушатся ретиво,  
Hlavně českých, víš?<sup>2</sup>*

*Позабудь себя, включи вниманье,  
Не нужны ни речь, ни обаянье,  
Слушай жизнь, она тут бьёт ключом,  
Здесь дела, заботы — нипочём,  
Ty, vole, žij!<sup>3</sup>*

*Все сюда приходят потому —  
Поклониться Mistru одному.  
Мастер чешских душ, взаимоотношений:  
Hrabal Bohumil, других нет мнений,  
Tak ti prjij!<sup>4</sup>*

*Только не ищи там объяснений  
Всех твоих обид и обольщений.  
Просто — это чехи. Оцени!  
Ты сюда приехал, не они,  
Takže to pochop a prostě smekni!<sup>5</sup>*

---

<sup>1</sup> Естли розумишь = если понимаешь.

<sup>2</sup> Главне чешских, вишь = прежде всего чешских, знаешь?

<sup>3</sup> Ты, волэ, жий = живи!

<sup>4</sup> Так му пржибий = выпей за его здоровье!

<sup>5</sup> Также то похоп а просте смекни. = Так это пойми и просто сними шляпу.

**Летний вечер в Есенике<sup>1</sup>**

*Дым — туман слегка белеет на холмах,  
За холмами расплывается закат,  
Меж холмами притаился городок —  
Не велик, не мал, не низок, не высок.*

*Вечер теплится в июньских деревьях,  
Свет погас уже в домишках и домах,  
Цветники свои эфиры раздают,  
За стенами сонно прячется уют.*

*Сероватые пруды хранят покой,  
Даже ивы прикорнули над рекой,  
Лишь река шуришит да брызжет пережат,  
Тополя — как свечи выстроились в ряд.*

*Фонарики слепо смотрят в темноту,  
Над трубою стоит месяц на посту,  
Переезд звенит, глумясь над тишиной,  
Томно ночь крадётся кошкою блудной.*

---

<sup>1</sup> Городок в горах Силезии. — Ред.

\* \* \*

*Слава всем Надеждам,  
Будущим и прежним,  
Любящим и нежным,  
Вечным, как всегда!*

*Чтоб легко на свете –  
В паруса вам ветер!  
Пусть вам солнце светит,  
Радость ли , беда!*

*Оставайтесь мильми,  
Оставайтесь славными,  
Потому, что главное,  
Как тут ни возьми:*

*Людям быть опорю,  
И в беде подпорою!  
Помните: последними  
Умираем мы !*

Антон Шустов

## **Танго начинается с объятия**

Ей было двадцать пять, когда она впервые переступила порог танцевального зала. Яркий свет, зеркала, смущенные мужчины неуверенно переминаются с ноги на ногу, женщины застыли в нетерпении, неловко улыбаясь и переглядываясь. Первые шаги давались нелегко. Нина будто заново училась ходить, стоять и ждать. Училась понимать себя и слушать его. И тогда танго рождало между ними разговор без единого слова. Время шло, шаги становились плавными, движения хлесткими и четкими. Испуганные глаза закрывались, на губах застывала улыбка.

Работа, семья, походы в бар, в кино, депрессии, пустые отношения — все это было когда-то. Она хорошо помнила тот день, когда все это потеряло для нее смысл. Это была первая в ее жизни милонга.

Сухая, пыльная ночь. В преддверии темноты, вечерние сумерки будто перенеслись в небольшой паркетный зал, где по вечерам собирались любители танго. Столы и стулья отодвинули и расставили вдоль стен, освобождая площадку для танца. За столиками люди: вежливый гомон назначенных встреч, сигаретный дым, пятнышки кофе и вина на скатертях. Нина нервничала, сидя за одним из этих столиков одна, постукивая каблучками новых туфель и разглядывая танцующих.

Внезапно взгляд ее застыл, все внутри затрепетало от нахлынувшего волнения. Они смотрели друг на друга несколько секунд, затем он улыбнулся, вопросительно приподнял брови и еле заметным движением головы кивнул на танце-

вальную площадку. Нина смущенно улыбнулась и, не отводя взгляда, медленно кивнула. Ни на секунду не отрывая от нее взгляда, он легко прошел сквозь плотную толпу танцующих пар к ее столику и протянул руку.

Танго всегда начинается с объятия. Оно может рассказать о человеке больше, чем долгие разговоры и флирт. Мужчина обнял ее за талию так, словно это было мечтой всей его жизни. Подал вторую руку бережно, словно спрашивал: «неужели такая девушка ответит взаимностью?» Она обняла его за шею, приблизила лицо к выбритой щеке и закрыла глаза, доверяя все свое существо его рукам и решениям. Затаив дыхание и вслушиваясь в его тело, в ожидании первого шага.

Потом был танец. Четкий, спокойный и нежный. Одну тан-ду, один тур спустя, мужчина наконец отстранился и повел ее к столику, держа под руку. Предложил бокал вина. Нина отказалась. Ей хотелось сохранить в памяти только танец, только музыку и ничего сверх этого.

Больше в тот вечер она не танцевала. Каждая клеточка ее тела дрожала от удовольствия и волнения, когда под утро, полусонная, но полная волнений она возвращалась к себе домой, держа туфли в руках. За несколько минут танца она пережила больше, чем за всю свою жизнь.

Одна милонга в неделю, две, три, пять, семь... Она знала все танцевальные места города, и везде знали ее. Но ей этого было мало.

В один из ярких, влажных от шампанского и пота вечеров, тангеро из Буэнос-Айреса приехали в Москву давать мастер-класс. Нина танцевала с пожилым аргентинцем по имени Хавьер. Какой он был чуткий, уверенный и страстный! Никогда прежде она не получала такого наслаждения от танца.

И тогда она почувствовала непреодолимое, подобное тяге к свежему воздуху, желание поехать в Аргентину. Это было непросто, ведь за всей своей бурной ночной жизнью она совсем перестала обращать внимание на все остальное.

Нина еле справлялась на работе, вечно являясь сонной, с опухшими глазами и странной улыбкой, оставшейся после

ночной милонги. Ей отказали в отпуске, пригрозив увольнением в случае самовольной отлучки.

Но тут повезло. Нину пригласили представлять Россию на танго-фестивале в Лондоне. Оплатили перелет, номер в отеле, выделили минимальные средства на существование. В тот же день она уволилась с работы, сдала квартиру в аренду, распрощалась с родными и немногочисленными друзьями, собрала чемодан, и с бешено рвущимся сердцем поднялась на борт авиалайнера, вылетающего рейсом «Москва — Лондон».

Никто и ничто не могло задержать ее долго на одном месте. Лондон, Аргентина. Амстердам, Франкфурт, Турция, Нью-Йорк, Израиль, Париж... Она жила одним лишь танцем. В танго ты всегда смещаешь центр тяжести немного вперед. Стоит партнеру сделать шаг, и чтобы не потерять равновесие, ты вынужден следовать. Так и в жизни. Она смещала центр тяжести на носки и, находя опору лишь в танце, неумолимо двигалась вперед. Вечная милонга! Дыхание в ритме танго. Такой была ее жизнь.

Шли годы. Нина училась, восхищалась. Затем стала учить сама, и теперь уже восхищались ею. Одни привычки она теряла, другие приобретала. Большинство проблем, с которыми ей приходилось сталкиваться в своей прошлой, тусклой жизни больше не существовало для нее. Ей платили гонорары, которых вполне хватало на все прихоти. Легкий завтрак перед утренним сном, легкий ужин на ночь, платья, туфли, сигареты и кофе — все, что ей было нужно.

Стоило ей появиться на людях, и все головы невольно обращивались ей вслед. Все видели желанную, притягательную и независимую женщину, живущую в собственном мире, по собственным законам. Мужчины расправляли плечи, женщины улыбались, с легкой завистью глядя на ее походку, грацию и внутренний ритм, превращавший все ее движения в танец.

Нина не была красавицей в обычном смысле этого слова, но была обаятельна, женственна, полна очаровательных мелочей. То, как она держала сигарету, как дотрагивалась до открытого веснушками носа, когда смущалась; как мягко выговаривала букву «ш», как смотрела, широко открыв глаза и

всегда вдаль, очень редко отвечая на прямой взгляд без необходимости, — было неповторимым. Она вся состояла из мелочей, из-за которых мужчин влекло к ней.

У нее были отношения и до танго. Правда, все заканчивалось одинаково. Мужчины бросали ее, либо она не видела в них спутника жизни. Но стоило зазвучать танго — и она находила его. Того самого. Мужчину, который не смел отвернуться от нее, который жил здесь, сейчас, и только для нее.

Она всегда закрывала глаза во время танца, и ей казалось: это он танцует с ней. Сегодня он был небрит, неуклюж, озабочен и предпочитал виски, а завтра становился гибким, учтивым, от него пахло дорогой одеждой и кофе с корицей.

Ей было достаточно одного объятья, чтобы понять и направить его, чтобы этот танец был лучшим в его жизни. Она могла быть холодной, страстной, нежной, смущенной. Она любила и была любима, пока играло танго.

Но музыка обрывалась, и она опять и опять расставалась с ним, не давая, ни словом, ни жестом продолжить то, что было между ними в танце. Она боялась пускать его в свою жизнь вне танца, ведь тогда он увидит ее недостатки. Увидит, что она плохо готовит, не любит те фильмы, которые любит он. Он поймет, что у них нет ничего общего, кроме тех коротких минут танго и, разочаровавшись, бросит.

Она предпочитала сделать это сама, на своих условиях, избежав боли и разочарований. Садилась за столик, закуривала сигарету, допивала кофе, расплачивалась и, не глядя по сторонам, выходила к рассвету.

Снимала туфли с усталых ног, и с этого момента оказывалась абсолютно одна, не давая огромному миру, с его радостями, заботами и яркими красками овладеть ею.

Так прошло десять лет. Десять лет, семь из которых, словно наркоман, она проводила в ожидании первого объятья...

Дефанс. Маленький райончик на окраине Парижа. Маленький Нью-Йорк на парижский манер. Кучка небоскребов, опутанных арками и темными переулками. Незаметный ресторанчик с танцевальным полом и мотелем на верхних этажах.

Нина здесь уже неделю. Недавно проснувшись, она приняла душ, заказала в номер легкий ужин и теперь сидела у окна перед зеркалом, плавными движениями накладывая вечерний макияж. По комнате бегали разноцветные блики от фар подъезжающих к ресторану такси. В комнате легкий полумрак, не доверяя неверному свету из окна, Нина несколько раз перекрашивала губы. Последний раз взглянула в большое зеркало у входной двери.

В отличие от России, в Европе милонги были обычным времяпровождением, и потому стиль одежды был намного более свободным, повседневным. Что не мешало Нине выглядеть более чем элегантно: белая майка на Бруклинский манер с неглубоким вырезом заправлена в джинсы с завышенной талией. Немного подвернутые снизу, они открывали тонкие гладкие щиколотки и новенькие черные туфли. Простая короткая прическа, в ушах сережки — перышки. Ярко-алые губы, маленькая сумочка с сигаретами, деньгами и блокнотом, куда она записывала новые движения, увиденные на милонге.

Спускаясь по узенькой деревянной лестнице в ресторан, Нина взяла за привычку проводить рукой по неровной, яркосиней линии, нарисованной кем-то на обоях.

С каждым шагом музыка становилась все громче. Пока она спускалась, низкий потолок скрывал от нее большую часть танцевальной площадки. Ступенька — и видны только переплетающиеся ноги, еще ступенька — видны брюки, платья, шаровары и колготки, еще две ступеньки — видно все, кроме лиц.

Нина постояла так немного, наблюдая за безликими посетителями, и усмехнулась. Можно было вполне обойтись и без голов. Последние ступени — и она вдохнула полной грудью запах теплого паркета, пота и кожи, запах своего маленького мира.

Садясь за привычный столик у окна, она заказала кофе и, закурив, огляделась. Молодой человек за соседним столиком подмигнул ей. Она мягко улыбнулась и отвернулась, следя за танцующими.

Среди десятка пар она выделила одну и стала наблюдать. Мужчина вел изобретательно, изящно и уверенно, явно не новичок, но как-то холодно. Девушка была смущена его отно-



шением и следовала немного скованно. Музыка стихла, и они вежливо распрощались.

Он сел за свой столик лицом к Нине, и она удивленно вскинула брови. Она и раньше встречала его. Он будто следовал за ней, появляясь вот уже месяц там же где и она, но ни разу не пригласил на танец. Но Нина знала — он наблюдает за ней с интересом, все время ищет взгляда. Он был немногим старше ее, худощав, строен, с черными волосами и серыми глазами, глядящими всегда немного с насмешкой. И точно нарочно, он поднял взгляд и улыбнулся Нине. Она опустила глаза и с легким раздражением затушила сигарету о мокрую пепельницу.

— Могу я присесть, Нина?

Он подошел и, улыбаясь, указал на стул рядом с ней. На русском он говорил с сильным акцентом, и Нина ответила по-французски.

— Мы знакомы?

Видимо приняв ее слова за согласие, он присел.

— Лично нет, но я видел вас в Лондоне. Потрясающе танцуете.

— Спасибо, вы тоже. Хотя чуть холодновато.

Ничто не выдавало в нем смущения или обиды. Он рассмеялся и закурил.

— В танго мы такие, какие есть на самом деле: теплые или холодные.

— Дело практики.

Нина отпила кофе и промокнула губы уголком салфетки.

— И что вы посоветуете в качестве упражнения?

Нина промолчала и уставилась на площадку.

— Простите за надоедливость, но не могли бы вы оказать мне маленькую услугу?

Он смотрел прямо в глаза, и не видно было, что сильно переживал из-за своей надоедливости.

— Услугу? — Нина рассеянно рассмеялась.

— Да. Понимаете.... Пусть вас это не смущает, но я... фокусник, профессиональный иллюзионист...

Нина изумленно вскинула брови.

— Вот как?

— Именно так, — он склонился над столом и заговорщически подмигнул. — И на этот раз я придумал нечто просто гениальное! Так вы поможете мне?

— Чем же?

— От вас не требуется почти ничего: «Две щепотки суетных мыслей...»

Нина улыбнулась знакомой цитате из Алисы в стране чудес, а он все продолжал:

— Последнее время я увлекся предсказаниями, и в моем новом трюке помочь мне можете только вы.

Нина окончательно забыла про танец, с изумлением глядя на собеседника.

— Почему я?

— О, в этом и есть вся суть! — Он достал из кармана пиджака тетрадь и положил перед Ниной.

— В этой тетради я записал предсказание касающееся вас. Мне нужно, если конечно согласитесь, чтобы вы подписали или пометили тетрадь так, чтобы ее нельзя было спутать. Мы положим ее в конверт, запечатаем, и вы откроете его тогда, когда захотите.

Нина немного покраснела и взяла в руки тетрадь.

— Только не открывайте сейчас, сначала запечатаем.... Так вы согласны?

— А это важно?

— Для меня это очень. Ну, так как?

В похожей ситуации, Нина просто встала бы и ушла, но сейчас... Что и говорить, француз смутил ее и заинтриговал.

— Хорошо, если вы так просите...

— Гениально! — театральным жестом он достал из кармана красивую перьевую ручку и протянул Нине.

«Какая глупость... нелепо...» Нина расписалась на конверте и отложила ручку.

— Отлично. — Он аккуратно положил тетрадь в конверт, запечатал.

— Это вам, — сказал он, протянув ей конверт. — А это мне, — он убрал ручку обратно и, затушив сигарету, встал.

— Значит, открыть, когда захочется, — Нина смотрела на конверт, как на гранату.

— Ага, все просто. Большое вам спасибо! — он сдержанно поцеловал ее руку и направился к выходу.

— Пожалуйста... — пробормотала Нина, глядя в пол.

Нина танцевала весь вечер и всю ночь, чтобы выкинуть из головы это нелепое происшествие. Конверт с предсказанием, свернутый в трубочку, лежал в ее чемодане в номере. На следующий же день она расплатилась за жилье и, взяв ближайший билет до Аргентины, вздохнула с облегчением, уютно устроившись в мягком кресле первого класса.

Конверт лежал на дне чемодана, нетронутый, в ожидании своего часа.

К утру она прибыла в Гуалегуачу, где решила провести несколько дней, а затем отправиться в Буэнос-Айрес.

Как же приятно было пройтись по широким бульварам, где теснились сотни магазинов, маленьких ресторанчиков, а затем спуститься к морю и провести там целый день, до наступления ночи.

Нина всегда возвращалась в Аргентину, когда на сердце было беспокойно. И сейчас был именно такой случай. Ей казалось, что тот странный француз следует за ней повсюду. Она понимала, что это глупость, но все равно не хотела открывать конверт. Ее жизнь была понятна ей до последних мелочей, а этот чертов конверт будто размывал почву под ногами.

Она не знала, где окажется завтра, но точно знала — что будет делать. И ее угнетал тот факт, что она не могла контролировать то, что лежало в ее собственном чемодане. Она чувствовала, что в той тетради написано нечто важное для нее. И боялась этого.

В те дни, в Гуалегуачу подходил к концу праздник любви, в честь которого в течение двух месяцев проходил самый многолюдный и яркий карнавал в мире. Тысячи туристов, бой барабанов, латинские ритмы, коктейли, перья, маски.

Ей хотелось затеряться в толпе, раствориться в празднике. Она купила маленькую белую маску с золотыми узорами вокруг глаз и ярко фиолетовыми губами. На время праздника милонги в городе приостановили, но она все равно хотела остаться здесь хотя бы на день.

Наступил вечер. Карнавал был в самом разгаре. Нагулявшись за день, Нина сидела теперь за столиком летнего кафе и не спеша пила холодный кофе с лимоном, куря крепкие местные сигареты. От очередной затяжки у нее заслезились глаза и она закашлялась.

— Нина!

Она подскочила на месте, испуганно оглядываясь по сторонам.

— Вот черт, Нина!

К ней подлетели две девочки лет девятнадцати. Кажется, она учила их танцевать, правда не помнила где. Говорили они по-русски.

— Как вы поживаете?

Одна из них обняла ее, а другая уже возилась с камерой. Вспышка. У Нины разболелись глаза.

— Как здорово вас здесь встретить!

Они присели за столики и принялись наперебой рассказывать.

— Мы только с самолета. Как здесь здорово! Вчера в Буэнос-Айресе был мастер-класс. Там был такой классный француз!

— Ага, просто гений!

— Такие в Россию не заезжают.

— Красавчик! Сероглазый!

— Правда, ему будто ни до кого нет дела...

Если бы Нина стояла, у нее подкосились бы ноги. Она опрокинула залпом остатки кофе, положила на столик деньги и встала.

— Простите девочки, меня ждут. Жутко опаздываю...

— Посиди с нами немного!

— Мне правда надо бежать, была рада встретиться...

Нина кинулась в самую гущу толпы и надела маску. «Нужно потанцевать... сальса не пойдет... надо выпить...опять он! Немыслимо, не понимаю!»

Она бродила среди толпы и пила все, что попадалось под руку. Она проходила мимо всевозможных эстафет, конкурсов, аттракционов и у одного из них остановилась. Кучка туристов сгрудилась у каменного диска на шесте, с изображением ста-

рика с растрепанной бородой в виде змей и глубокой щелью во рту, куда все желающие засовывали руку.

— Предсказания по руке! Сколько у вас удачи? А любви? Здоровья? — кричал толстый мальчик-зазывала. — Все это вам предскажет наш древний предсказатель, найденный во время раскопок! Всего одно песо!

Нина бездумно встала в очередь. Отдала деньги мальчику и сунула руку в пасть изваяния. Замигали какие-то лампочки, раздался таинственный скрежет механизма, выплевывавшего не менее таинственный пронумерованный маленький листок, по типу чека на заправке.

*Удача — пять звёздочек.  
Болезни — одна звёздочка.  
Секс — четыре звёздочки.  
Любовь — ноль.*

Нина некоторое время смотрела на листок. Затем скомкала и выбросила в ближайшую урну.

— Хочешь, детка, предскажу тебе будущее? Оно у тебя интересное.

Старая цыганка в шаялях вцепилась в ее руку, глядя подслеповатыми белесыми глазами.

Нина вырвалась, отбежала к стене ближайшего дома, прижалась к нему спиной и сорвала маску. Вокруг старухи собралась стайка смеющихся, наперебой желавших узнать будущее.

Так. Надо успокоиться. С каких это пор она стала такой суеверной? Француз просто издевался над ней, а она теперь место себе не знала. Да, какого черта! Она что, маленькая девочка, что бы так себя вести?!

Нина пробралась сквозь толпу и поймала такси.

— Что такая невеселая? — бросил таксист через плечо, бибикая и лавируя среди оголтелых туристов.

Нина закурила и на несколько секунд зажмурилась изо всех сил, пока перед глазами не поплыли разноцветные пятна. Затем посмотрела в зеркальце заднего вида на веселого усатого таксиста в смешной маске. Потом увидела свое унылое отражение. Улыбнулась, а затем расхохоталась.

Таксист протянул ей маленькую бутылочку с ромом, Нина отхлебнула, все еще смеясь и морщась от алкоголя.

Отель. Номер. Сквозь занавески пробивался красный закат. В комнате душно и уютно. Чемодан под кроватью. Конверт под пакетом с бельем и старой парой туфель. Клейкая лента легко порвалась. Обычная зеленая тетрадь в клеточку. Нина пробежала глазами первую строчку и весь мир вокруг замер.

«Ее звали Нина. Ей было двадцать пять, когда она впервые переступила порог танцевального зала...»

Четверть шестого. Предрассветные лучи солнца, теплым желтым контуром высвечивали профиль женщины, сидящей на кровати неподвижно, будто во сне. Прокрадываясь сквозь колышущиеся, прозрачные занавески, свет мягко искрится в каплях, одна за другой, стекающих по ее острому носику в веснушках, а затем, с тихим шлепком падающих на раскрытую у нее на коленях тетрадь.

Прочитав свою душу в первый раз, она тут же перечитала ее вновь, и опять и опять, пока не смирилась, наконец, что это не сон, не кошмар и не галлюцинация.

Было страшно, и ей хотелось обернуться, будто кто-то стоял у нее за спиной. Потом стало смешно оттого, что страшно. Потом любопытно и удивительно.

А затем ей стало одиноко. Она чувствовала себя пустой. Она была оберткой, коконом, а все, что внутри — покоилось теперь на пожелтевших от слез страницах. И никакой силой нельзя было вырвать их оттуда и засунуть обратно в тело.

Кто он? Враг? Друг? Единственное, что ей было понятно, — он не фокусник. Откуда он все узнал? Ни одному человеку на свете она не рассказывала про то, что у нее внутри. Да и сама толком не знала, что там...

Он знал. Он понял ее, даже ни разу не станцевав. А теперь знала и она. Она навсегда замерла в том первом объятии, и только теперь открыла глаза. Но она не улыбалась, как обычно после танца.

Она так долго танцевала это танго, что не заметила как закончилась музыка, сменился ритм и тема. А теперь все закончилось. Пропало волшебство. Но ей этого не хотелось. Она танцевала и танцевала великолепно, но без партнера танго не бывает. И она знала, кто может заставить ее вновь ступить на паркет.

Нина утерла слезы. Аккуратно сложила тетрадь и положила рядом на кровать. Встала, разделась и пошла в душ. Затем позвонила портье и попросила завтрак в номер. Ела, смакуя каждый кусочек. Выкурила сигарету, допила сок и подошла к чемодану. Вытряхнула все свои вещи на пол и выудила среди кучи свое любимое платье. Кремовое, цвета облаков на предзакатном небе, с глубоким вырезом на спине, перехваченной тонкими шнурами крест-накрест.

Шелк легкой прохладой обволакивал тело, цвет хорошо подчеркивал ее стройную худобу и чуть смуглую, всю в веснушках кожу. Платье было чуть выше колен — она знала: это ее длина. Однотонные, цвета кофе с молоком замшевые туфли с открытым носком.

Никаких украшений на шею, только тонкая серебряная цепочка с распятым, которое она носила скорее по привычке, чем из религиозных убеждений. Волосы и так смотрелись хорошо: немного растрепанные, густые и каштановые. Мягкий, не вечерний макияж. Старая, маленькая сумочка с привычными мелочами.

Она с удовольствием смотрела на себя в зеркало. Для Аргентины, это, наверное, слишком нарядно, но нужно выглядеть шикарно... для своей второй милонги.

Денег хватало ровно до Буэнос-Айреса в один конец. Нина не знала точно, что именно собирается сказать ему при встрече. Просто появилась проблема, а затем несколько вариантов ее решения. Забыть про тетрадь, забыть про француза и оставить все как есть... невозможно.

Так что же... бросить танго? От этой мысли ей становилось дурно. Несколько часов полета дали ей время все обдумать. Первым делом нужно было узнать, где проходят

мастер-классы. С этим не возникнет проблем. А затем найти чертового француза и сказать... и сказать ему... вот просто взять и сказать...

Немного ошалелая, она спустилась по трапу и, выйдя из зала аэропорта, заказала такси до ближайшего танго-клуба. Садясь в машину, Нина закурила.

— Простите, сеньорита, у нас не курят...

Нина уставилась на таксиста. Он перестал улыбаться и отвел глаза, давая на газ.

— У вас все в порядке? Вы какая-то невеселая.

Нина бы предпочла, что бы он был в маске и предложил ей выпить. Но нельзя получить все и сразу, так что она достала из сумочки свою маску, оставшуюся с праздника и надела.

— Так веселей?

Таксист ухмыльнулся.

— Вы не местная. Из России? Приехали посмотреть наше танго?

— Все гораздо хуже. Я собираюсь его танцевать.

Он удивленно посмотрел на нее через плечо.

— Вы кажетесь мне знакомой... мы с вами не встречались?

— Такие маски продаются везде. Возможно, вы купили меня своей дочке за десять песо.

Таксист умолк и до самого клуба было слышно только его тихое ворчание на неизвестном ей диалекте, а иногда посвистывание.

— Приехали, сеньорита.

— Спасибо.

Нина отдала деньги и вышла. Таксист отважно улыбнулся и почтительно коснулся полей своей соломенной трилби.

— Удачи вам в ваших делах. Надеюсь, вам понравится в Аргентине.

Нина сняла маску и улыбнулась ему. Тот сразу повеселел.

Было несложно вычислить его. Он был единственным французом, приехавшим в Аргентину давать мастер-класс, что уже было удивительно. Обычно именно аргентинцы приезжают куда бы то ни было давать уроки, а не наоборот.



Его звали Матиас. Он занимается постановкой танца в кино. И, как и подозревала Нина, чертов француз не имел к фокусам никакого отношения. Никто с ним особенно знаком не был, известно только, что он вроде бы остановился в отеле «Марено» неподалеку от площади Майо, в получасе ходьбы от танго-клуба...

Красивое старое здание в исторической зоне города. Проходя по большому вестибюлю с высоким потолком, Нина остановилась у ресепшена.

— В каком номере проживает мсье Матиас... — Фамилии она не знала.

— Назовите фамилию.

— Я не знаю фамилии. Он танцор из Франции...

— Матиас Ле Грис?

— Наверное...

— Двести семнадцатый номер. Второй этаж, прямо по коридору и налево. Известить его о вашем приходе?

— Нет.

Нина оправила платье, глубоко вздохнула, придала себе самый грозный и непроницаемый вид и дрожащей рукой трижды постучала по глухому дереву с табличкой «217».

— Кто там?

Нина толкнула дверь и вошла в темную комнату.

Первое время она просто смотрела на него. Было странно видеть человека, видевшего тебя насквозь, сидящего посреди комнаты в одних трусах, с бутылкой вина и сигаретой в зубах. Он подскочил и что-то пробормотав, исчез в соседней комнате. Через минуту он вернулся, одетый в брюки и майку и застыл, опершись о дверной проем, с насмешливой улыбкой глядя на Нину.

— Вот уж кого не ожидал встретить.

Нина молча смотрела на него, не зная, что сказать или сделать.

— Вина?

Он поднял с пола бутылку и разлив по бокалам, протянул один ей. Нина присела на краешек кровати и молча отпила немного. Содержательное молчание длилось несколько минут: Матиас смотрел на Нину, а Нина смотрела в пол.

— Зачем ты это сделал? — Ее голос звучал хрипло и безо всякого выражения

— Потому, что захотел.

Нина приподняла брови.

— Захотел и сделал, так?

— Да, так. — Матиас склонил голову на бок и одним глотком осушил бокал. — И вот ты здесь...

Нина допила вино.

Теперь он смотрел на нее без насмешки. Он долго молчал, прежде чем произнести одно-единственное слово.

— Потанцуем?

Нина впервые посмотрела ему в глаза, и в комнате стало теплее. Он подошел к магнитофону на подоконнике и нажал кнопку запуска. Тихий стрекот кассеты перешел в тягучий плач скрипки и банданеона.

Этот мужчина обнял ее за талию так, словно нашел наконец смысл в своей жизни, и талия, которую он обнял, принадлежала единственной женщине на свете, ради которой стоило учиться танцевать.

Он подал ей руку, будто спрашивая — есть ли на свете хоть одна причина, по которой она может ему отказать? И знал ответ — нет.

Нина открыла на миг глаза, и увидела, что его глаза закрыты. Они были в полной темноте. И он сделал первый шаг. И она последовала. Она шла за ним, не ощущая времени и пространства. Они были в темноте, где только он знал дорогу.

И Нина улыбалась. Весь мир, все существенное и главное, что она искала, было сейчас только здесь, только сейчас и в этой комнате, в этой музыке и в этом объятии.

Пронзительные, пронизанные мучительной эротикой пассажи на банданеоне порождали и сопровождали каждый их вздох и шаг, пока не прозвучал последний, специально приглушенный аккорд, призванный навсегда разлучить...

Лунный свет, белыми пятнами высвечивал контуры тела женщины, с густыми волосами, растрепавшимися на груди мужчины, обнимавшего ее за плечи.

Нина спала. Спала так крепко, что случись в этой комнате высадка иностранного легиона — она бы все равно не проснулась. Она улыбалась во сне. Острый носик подрагивал и рефлекторно втягивал запах тела мужчины, который смог ее остановить, которому было достаточно одного объятья, чтобы понять и направить ее и сделать их танец лучшим в ее жизни.

Матиас не спал. Он курил, вслушиваясь в треск тлеющей сигареты и тихое шипение магнитофона. Он думал о том, как сам оказался зрителем, до последнего момента не знавшим и надеявшимся, что самый гениальный на свете фокус удастся... или это было чудо?

Он улыбнулся, наблюдая, как клочки дыма от сигареты скользят по обнаженной спине Нины и растворяются на фоне замерших в нерешительности звезд, застывших в ожидании обычного, теплого объятья.

Валерий Иванов-Таганский

## Босоногий

*Нельзя включить воспоминания  
Как телевизор или свет –  
Тут бесполезны все старания,  
Тут никаких рецептов нет.  
Они приходят как бы сами.  
Законы их сложны, тонки,  
Но уж, явясь, идут за нами  
Порой до гробовой доски.*

*В. Бушин*

Виктор был белесым, крепким и с веснушками на лице. В пятнадцать лет выглядел на все восемнадцать. Учился легко, любил рисование, мечтал стать знаменитым футболистом. Босоногим его прозвали из-за футбола. В обуви голы не забивал, а босым везло. Закричат: «Босоногий, вперед!», он и рад стараться.

Ко всему прочему, Виктор был тайно влюблен и считался грозой районных огородов. Дело в том, что латыши, проживающие на краю Риги, имели при домах земельные участки, а семьи военных, расселенные после войны по домам уехавших за границу толстосумов, кроме квартир и скрытой неприязни, не имели ничего. Дети эту несправедливость исправляли по-своему. Когда на участках начинали зреть фрукты и овощи ребятишки с этих огородов аккуратно вжимали урожай.

Местные бабки были вне себя от ярости и установили дежурство, чтобы ловить «офицерских поросят». Однако мор-

ковь, огурцы и помидоры регулярно с грядок исчезали. Старухи-огородницы негодовали, но поймать никого не могли. Уж больно организованно проводилась эта, по-военному названная ребятами, «репарация».

Больше всех жаловалась бабка Розалинда: у нее огород был самым урожайным. Старуха поклялась поймать Виктора — главного стратега и обидчика.

С раннего утра она высматривала, как тот спускался с крыльца и словно цапля, поджимая от холода то одну, то другую босую ногу, медленно спускался по цементным ступеням.

Через секунду подбегал к перекладине, сделанной отцом после войны, вглядывался в окна соседнего дома, где жила Дзинтра — симпатичная рыжеволосая девчонка, в которую он безответно был влюблен, и подтягивался до тех пор, пока не сбивался со счета. Лицо у него при этом было злое, словно кто-то кусал его за пятки.

Бабка доставала с полки довоенный театральный бинокль и с этого момента превращалась в Шерлока Хомса. Розалинда не сводила глаз с участка, но выследить не могла, что-то ее всегда отвлекало. То чужую собаку кто-то пустит во двор, то, с чего не возьми, поросенок вырвется из хлева. Вечером, по оставленным следам старуха понимала, что опять у нее на огороде ужинал Босоногий.

Она регулярно жаловалась его отцу. Тот шел с Розалиндой на огород и каждый раз следы оказывались не сына, а кабана. Разводя руками, отец говорил: «Нет доказательств, порки не будет!»

Для утешения отец обещал бабке дежурить с пистолетом ночью и угостить ее кабаниной. Бабка сообразила, что надо искать какие-то приспособления с копытами, но найти не могла.

Наконец, все разрешилось. Главный архаровец района и давний враг Босоногого — Айвар притащил ей в качестве доказательства четыре небольшие доски с приделанными копытами кабана. Он нашел эти приспособления в сарае Босоногого и тайно приволок их старухе. Это был точный слепок шпионских копыт из популярного в то время фильма «Застава в горах».

Взяв эти предоставленные Айваром вещдоки, бабка пожаловалась отцу, а потом долго и не без удовольствия слушала у себя на втором этаже, как выл под отцовским ремнем ее босоногий враг.

Обида на долговязого доносчика настолько была велика, что Босоногий решился на «открытый бой». Вместе с Вовкой — парнем постарше, проживавшем на соседней улице, Виктор в спешном порядке стал ходить на занятия по самбо. Через неделю тренер его заметил и похвалил:

— Лет через пять можешь стать чемпионом.

Сергей Иванович не сказал, каким чемпионом. И чемпионом чего: района, города или республики?

Но Виктору это было не столь важно. Главным было то, что в него поверили. Значит, он кое-что стоит и Айвар — этот латышский стукач, с тонкогубым лицом и глазами, глядевшими на всех с призрением, вскоре это почувствует.

— Дам ему «открытый бой» на улице Атпутас, — решил Виктор. «Атпутас» по-латышски — отдых.

— Вот он у меня и отдохнет на карячках в луже грязи, — строил планы Босоногий.

Вообще, с Айваром — местной баскетбольной знаменитостью, у него не заладилось давно: девять лет назад, когда летом на площади Победы казнили немецких генералов.

Народу тогда собралось на эту казнь видимо-невидимо. Пробриться вперед, в первые ряды никому из знакомых мальчишек не удалось — военные детвору близко не подпускали. А вот на деревьях по периметру площади места было хоть отбавляй. С высоты все было видно даже лучше, чем из толпы.

Казнь назначена была на десять утра. Уже половина десятого на площади Победы не было, куда яблоку упасть. Толпа хоть и гудела, но таинственно и безрадостно. Все понимали, что в казни много зрелища и ничего хорошего.

Наконец, на дороге показались грузовики, для проезда которых толпа освободила проход. Ровно десять машин встали в центре площади. Борты откинута только у восьми грузовиков. Рядом укрепленные в землю виселицы.

Когда машины выключили двигатели, а вдоль отброшенных бортов строго по линии повисли петли, толпа притихла. Говорить никто не хотел. Ждали, когда откроется отдельный автобус, стоящий в начале колонны.

Наконец к автобусу подбежал высокий полковник в непривычной форме внутренних войск и, открыв дверь, скомандовал: «Выходи!» Вышло их почему-то восемь человек. Позже стало известно, что двоим удалось бежать и по дороге их убили.

Оставшиеся восемь нехотя выстроились в колонну и двинулись к месту казни. Впереди уверенным шагом шел небольшого роста генерал. За ним, словно набираясь храбрости, тянулись остальные семеро.

— Смотри-ка, — прошептал парень, сидевший на боковой ветке, этот маленький ничего не боится.

— Подожди, дойдет до петли, в штаны наложит, — с другой ветки ответил незнакомый паренек постарше.

И действительно, один из приговоренных, высокий и сутулый немец, увидев виселицы, охнул и вдруг его зеленые галифе ниже пояса быстро потемнели. Народ, заметивший этот конфуз, громко засмеялся.

Босоногий не смеялся. Ему было не по себе. При виде этих виселиц, у него все время подкатывало к горлу. Не нравилось ему и настроение, которое демонстрировали организаторы казни.

— Людей вешают, чего зубы скалить от радости, — думал мальчишка, глядя на приготовления.

Вскоре всех приговоренных расставили у своих машин.

Последовала команда, был прочитан приговор. Читали его недолго и тихо. Босоногий только догадывался о содержании. И вот уже первый немец по подставной лестнице поднялся на платформу машины.

В этот момент внизу дерева, на котором уселось с десяток ребятишек, появился Айвар. Он полез вверх и на ходу стал сбрасывать тех, кто мешал ему подняться до обзорной высоты.

Вот тут ему под руку и попался Босоногий. С первой попытки Айвару не удалось его скинуть. Но затем он двумя ру-

ками вцепился в руку Босоногого и, предательски толкнув его назад, скинул вперед. Босоногий сорвался и хорошо, что падая, успел вцепиться за нижнюю ветку, а то бы плашмя шлепнулся на землю.

Подтянувшись, он закинул ноги и устроился на нижней ветке. Обида захлестнула Виктора, но он себя пересилил и только крепче сжал зубы. Айвар, скалясь сверху, смотрел на него. Босоногий снизу показал кулак и громко добавил: «Убью!»

С нового места видно было только головы немецких генералов и борта грузовиков. Когда все восемь генералов поднялись на платформы, на площади воцарилось гробовое молчание.

Вскоре Виктор увидел на всех платформах по две головы: немецкую и русскую в военной фуражке. Это каждого немца придерживал наш офицер, чтобы не было сопротивления. Руки немцев были связаны сзади, на шее у каждого были петли. Генералы вели себя пассивно и обреченно.

Но вдруг один из немцев плюнул своему охраннику в лицо. Площадь взревела. Немец тут же получил в зубы. Народ одобрительно загудел. Удар был настолько сильным, что этого немца пока он не пришел в себя, вешали последним.

Потом какой-то пожилой мужчина заметил:

— Немец-то хитрым оказался, на полчаса смерть оттянул.

Громко зазвучал марш и под его звуки поочередно стали отъезжать машины, оставляя в петлях судорожно дергающихся людей. Все вели себя одинаково — до конца сопротивлялись в руках охранников.

Только предпоследний — невысокий генерал, рукой отодвинув охраняющего, сам пошел к краю платформы и, вскинув приветственно руку, не дожидаясь, спрыгнул с края борта.

Немцу, плюнувшему в лицо охраннику, досталось сполна. Разъяренный охранник поволок приговоренного к краю и ногой спихнул его за борт еще стоящей машины. Немец на секунду успел схватиться за борт, но охранник каблуком ударил по рукам и приговоренный тотчас повис.

Расходились все молча, было не до разговоров. На обратном пути Виктор заметил Дзинтру.



— Чего она, девчонка здесь? — подумал он, но тут же вспомнил, что у девочки отец был русским и погиб под Сталинградом. Самым неприятным было то, что рядом с Дзинтрой и ее мамой, улыбаясь шел Айвар, нахально размахивая руками. Виктор шлепал босыми ногами неподалеку и злился.

— Чего он к ней клеится, — спрашивал он у себя, — неужели она не видит, что Айвар противный?

И вдруг Виктор сквозь зубы сказал: не бывать этому! Чему не бывать, он и сам толком не понял, но почувствовал, как сладко защемило сердце.

К этому времени, когда Виктору стукнуло пятнадцать, Дзинтра стала красавицей. Все соседские мальчишки были влюблены в нее. Около ее дома разыгрывались чуть ли не турниры. Каждый из подростков, что-нибудь вытворяя, поглядывал на ее окна. Одни курили в затяжку, другие играли в фантики, а некоторые дрались до синяков. Виктор после занятий по самбо любил бороться.

Дзинтра училась в латышской школе. Когда поток ребят из этой школы расходился по домам, многие шли мимо окон Дзинтры. Виктор, приходивший из школы раньше, заметив, что Дзинтра вошла в подъезд, выходил из дома на середину улицы и вызывал латышей с ним бороться.

Поглядывая вверх, в окна, где мелькало знакомое личико, Виктор одного за другим клал на лопатки. У него даже появился свой зритель — дворовые ребята, которые устраивали овации после каждой его победы.

Но однажды он схватился с Гунаром, младшим братом Айвара. Виктор сумел обхитрить противника и неожиданным приемом положил его на лопатки. В этот момент рядом проходил Айвар со своими приятелями. Видя, что под хохот и аплодисменты детворы с его братом так разделались, Айвар с дружками набросились на Виктора и до синяков избили его. Ладно бы кулаками, а то били ногами, да еще по очереди.

Бросив Босоного лежать на земле, они зашли в подъезд, где жила Дзинтра и вскоре вместе с ней пошли на прогулку. Виктор долго не мог придти в себя. На голове появились

шишки, рот заливало кровью, левый глаз так затек, что смотреть можно было только закрыв лицо ладонью.

Кое-как поднявшись на ноги, Виктор поплелся домой. К счастью, дома никого не было. Он отмыл лицо от грязи. Долго держал голову с шишками под холодной водой, а потом сел за стол и от обиды заплакал.

Оскорбительнее всего было то, что Дзинтра, смотревшая из окна, как его избивают, ушла с этими гадами. Припомнив своих обидчиков, он решил разделаться с каждым по очереди. Открытый бой с Айваром он решил отложить. Надо потренироваться, заключил он. Но вдруг страшная мысль, что Дзинтра этим подонком может быть обижена, заставила его изменить планы.

Приговор был вынесен мгновенно. Подойдя к трехстворчатому шкафу, он протянул руку в дальний верхний угол и вытащил белый матерчатый сверток. Он быстро развернул тряпку и в руках у него оказался пистолет. Пистолет сохранился с войны. Они с братом Анатолием никогда к нему не прикасались. Отец еще в детстве строго сказал:

— Это подарок маршала Баграмяна, и если кто-нибудь из вас тронет, я никогда не прощу.

Дети гордились отцом, и никто ослушаться до сих пор не посмел. Но обида была настолько велика, что Виктор забыл обо всем. Ему даже показалось, что папа, если узнает, из-за чего все случилось, его простит.

Дальше все пошло автоматически. Он надел плащ, положил во внутренний карман пистолет и вышел на улицу. Плащ оказался кстати, начал накрапывать дождь. Однако детвора и в дождь не покидала улицу. Спросив у своих болельщиков, куда направилась компания, Виктор узнал, что после магазина, все гурьбой пошли к Айвару.

Он дошел до магазина, свернул налево и через дом вошел во двор. Виктор хорошо знал это место. Нередко они здесь играли в футбол. Косые, с латаной сеткой ворота не раз трещали по швам от его ударов. Наконец он подошел к дому, где жил Айвар.

Однако сразу войти не решился. Что-то его остановило. Перед глазами всплыло строгое, удерживающее от беды лицо отца. Он уже решил пойти назад, как вдруг через открытое окно

услышал знакомый голос Дзинтры. Она смеялась, смеялась звонко и весело. Ему показалось, что все они смеются над ним.

— Ах вы, гады, кучей навалились на одного, да еще издеваетесь, — вскипел Виктор и в следующую секунду одним прыжком оказался у двери. Из квартиры тянуло куревом и кислыми щами. Он изо всех сил постучал кулаком, дернул ручку и дверь распахнулась. Сделав три шага, он очутился прямо перед всей компанией.

— Ложись! — крикнул он срывающимся голосом. Все, оторопев, уставились на него, не зная, что делать. Тогда он выхватил пистолет, сделал шаг в сторону Айвара и навел пистолет прямо ему в лицо.

— На колени, — крикнул еще решительнее Виктор. И вдруг побелевшее лицо Айвара стало треугольным, а короткие, вечно прилизанные волосы вздыбились, как у ерша.

— Я кому сказал, на колени! — повторил еще громче Виктор. Айвар вздрогнул, треугольное его лицо стало наполняться слезами. Он выправился во весь рост, потом схватился за живот, стараясь руками что-то удержать и вдруг его светлые брюки стали мокрыми. Дзинтра увидев такой конфуз, приснула со смеху, а все дружки от удивления разинули рты.

— Все на колени! — не успокаивался Виктор. В его глазах был такой огонь, что веселье вмиг улетучилось, и все сразу опустились на колени. Он перевел глаза на Дзинтру и вдруг его сердце вновь защемило.

— А ты встань, — тихо проговорил Виктор, — это не твое место. Он указал ей на дверь и та быстро вышла.

Развернувшись к компании, он громким голосом приказал:

— Всем оставаться на месте, буду за дверью. Если кто выйдет — начну стрелять.

В полной тишине он закрыл дверь, несколько секунд стоя в коридоре прислушивался, а затем, пройдя через футбольное поле, пошел в свою сторону. На полдороге его догнала Дзинтра. Они долго шли вместе. Наконец она, заглянув ему в глаза через плечо, сказала:

— Виктор, — не злись, прости нас. И вдруг совсем по-детски добавила:

— Я больше так не буду.

На глазах у нее появились слезы. Дзинтра опустила голову, колечки волос сползли на лоб, и она стала еще красивее.

— Пойдем ко мне, — уже чуть не плача сказала она. — У нас есть торт, будем пить чай и лечить раны. Она взяла его за руку, прижалась ближе, и они вместе поднялись к ней на второй этаж. Стали пить чай. Вдруг она прижалась и поцеловала его прямо в губы.

— Хочешь, я выйду за тебя замуж, когда подрастем?

Виктор посмотрел на нее единственным видящим глазом и тихо выдохнул:

— Долго ждать придется.

Тогда она взяла его за руку и повела в свою комнату. Но в этот момент в дверях зазвенели ключи. Они успели вернуться за стол. Вошла мама Дзинтры.

— Мама, — смущенно сказала Дзинтра, — а у нас гости.

— Вижу. Что с лицом? — спросила она. — С кем-то подрался? Виктор нехотя кивнул. — Победил?

— Мама, ты не можешь себе представить, — вмешалась Дзинтра, — Айвар описался. Мама удивленно повела головой, и глаза ее улыбнулись.

— Тебя, кажется, Виктор зовут? — Виктор кивнул головой.

— Значит победитель, — сказала она, внимательно посмотрев на дочь.

— А папа у тебя военный? — Виктор снова кивнул. На ее отцветшем, с уставшими глазами лице на секунду снова появилась улыбка.

— Жи-во-о-й, — выдохнула она и посмотрела на висевшую фотографию погибшего мужа.

— Хорошо. Дружите, а там Господь разберется. Сидите, я в магазин схожу. Она взяла хозяйственную сумку и вышла.

Виктор обнял Дзинтру и быстро поцеловал.

— Давай поженимся, когда сойдут синяки, — уверенно сказал он. А сейчас я пойду, надо вернуть пистолет. Буду через час, на улицу не выходи, жди меня дома. Он еще раз ее поцеловал, потом еще и только тогда вышел из дома.

Алексей Хетагуров

## Один поляк

*Памяти С. Сосинского*

*...Там, за далью непогоды  
Есть блаженная страна:  
Не темнеют неба своды,  
Не проходит тишина.  
Но туда выносят волны  
Только сильного душой!..  
Смело, братья, бурей полный  
Прям и крепок парус мой.  
Николай Языков*

Шел пятьдесят седьмой год. В Москве проходил VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Новые поколения уже не ведают, что это за действо такое, оно сгнуло вместе с коммунистической системой. А тогда, в атмосфере глухой изоляции от внешнего мира и незыблемого «железного занавеса», оно было лучом света во мгле. Москвичи могли свободно общаться с людьми всех рас и национальностей. Многие, особенно дети, впервые увидели чернокожих, с восторгом таращили на них глаза, что-то кричали и тыкали пальцами. Особым успехом пользовались представители Чада и Камеруна: они были абсолютно черны, выделялись только белки глаз и белозубые улыбки.

Незабываемо была обставлена встреча неведомых пришельцев. Сотни тысяч москвичей с утра заняли все свободные

места вдоль Садового кольца. Заранее объявили, что делегации поедут на машинах и проезжая часть должна быть свободной.

Наконец под восторженные крики встречающих показались обыкновенные грузовики, плотно набитые людьми, и автобусы, из которых выглядывали радостные юные лица гостей — все махали руками, платками и косынками.

Особенно контрастно выглядели грубые кузова машин и стоявшие на них девушки-японки, густо напудренные, в нарядных кимоно и с замысловатыми прическами — живые фарфоровые куколки, удивительно изящные и миниатюрные. Они быстро обмахивались цветными веерами и ладошками приветствовали встречающих.

Из окон автобусов улыбались очаровательные белокурые голландки в остроконечных чепчиках.

Привлекали внимание многокрасочные индийцы, шикарные латиноамериканцы в огромных шляпах и расшитых куртках.

Рослые красавцы-шотландцы в клетчатых юбках стройно маршировали, дули в экзотические волынки и, размахивая помпонами на длинных веревках, с грохотом били ими в огромные барабаны — зрелище незабываемое.

Большинство делегаций было в национальных костюмах, которые у всех народов нарядны и праздничны. На этом пестром фоне выделялась черная униформа и экзотические головные уборы с черными перьями, как оказалось, представителей польских шахтеров.

Диссонансом празднику был автобус с молодыми людьми в военной форме, они прятались за шторками и вяло отвечали на приветствия. Это были бывшие солдаты госбезопасности, чудом выжившие после расстрела во время кровавой венгерской революции пятьдесят шестого года. Снимки казни облетели весь мир: они закрывались от пуль ладонями.

Фотографии меня тогда потрясли, ужасно жалко было перепуганных мальчишек-солдат, и я рад был увидеть уцелевших. Пережитое не изгладилось с их лиц — они грустно смотрели на ликующую толпу.

Но этот автобус был исключением. Не передать той радостной атмосферы сотен тысяч людей, собравшихся вдруг

со всей планеты на небольшом отрезке старой Москвы — на Садовом кольце. Ни до того, ни после не приходилось мне видеть сразу столько счастливых лиц — только почти через тридцать лет, в девяносто первом году, когда ликующий народ снес символ тоталитаризма: несуразно-длинный, похожий на шуруп шляпкой вниз, памятник Дзержинскому, уродовавший Лубянскую площадь.

И опять парадокс истории: «железного Феликса» — поляка — демонтировал народный депутат Станкевич — тоже поляк. Именно он организовал технику, чтобы махина не подавила людей и не пробила туннель метро, так как памятник хотели просто сбросить. Но это уже совсем другая история, хотя тоже не без участия поляков.

Тогда гостеприимные, наивные и неизбалованные москвичи после трудных лет послевоенной жизни увидели, как красочна и прекрасна семья народов, как все нужны друг другу — если тут и была замешана политика, то кто о ней тогда думал! Ведь фестиваль призывал к миру, а что может быть дороже него. Как бы сейчас мы не относились к рухнувшей системе, но тот фестиваль остался в памяти и на многое открыл глаза «советским людям».

Я, например, увидел идеал женской красоты. Девушка-корейка в национальном костюме медленно пересекала площадь. Ее лицо было совершенством линий и пропорций: персиковый цвет лица, большие раскосые глаза, рот и нос как будто выточены искуснейшим мастером, в пышных волосах — цветок. Она проплыла мимо меня, а я долго ошалело смотрел ей вслед, стоя столбом. Говорят, что самые красивые женщины встречаются в Корее. Может, и правда. Но как подумаю, что едят они моих любимых собак, так лучше и не надо той красоты!

В Москве проходили конкурсы, встречи, концерты, выставки и другие официальные мероприятия. Но появилась и своя теневая сфера общения без посредников: обмена значками, медалями, монетами, марками и сувенирами. Понавезли их в огромных количествах.

Чего там только не было! Например, автору этих строк итальянец пытался «впарить» массивную медаль с изображе-

нием тупорылого господина с бульдожьей челюстью с каской на голове — как оказалось, Муссолини. Какое отношение покойный дуче имел к коммунистическому фестивалю — загадка итальянской души.

Менялись московские мальчишки с иностранцами и друг с другом по несколько раз, полностью обновляя свои коллекции. Так, у меня были собраны медали, которые пошли в обмен на значки, потом сгнули и значки — все это активно перепродавалось и торговые операции проходили в течение нескольких дней.

Наиболее деловые «молодые дарования» занимались фарцовкой, то есть скупкой одежды и обуви у «студентов», которые прихватили это добро чемоданами в бедную и плохо одетую Москву. То, что предлагали они, разительно отличалось от выставленного в витринах магазинов, и предложение нашло спрос.

Однажды, увлеченный друзьями, я участвовал в такой сделке на каком-то чердаке около театра оперетты. Сюжет был вполне опереточный: немолодой толстый «студент», озираясь, ворошил чемодан, тряс тряпками, стучал туфлями и очень боялся «жандармов».

На вырученные за значки деньги я был решительно настроен что-нибудь купить в подарок маме, ибо свеж был в памяти ее рассказ о том, как в молодые годы она сшила себе платье из бумазейного мешка, который был получен ею на работе по распределению в эпоху славного военного коммунизма.

Платье из мешка ей шила столбовая дворянка, бывшая выпускница Смольного института и, естественно, «лишенка» — то есть лишённая права работать на государственной службе. Вот и приходилось ей подрабатывать шитьем, которому, видимо, хорошо обучали в институте благородных девиц.

Портниха-искусница «голубых кровей» сшила платье на диво. И моя с черными кудрями и синими глазами юная прекрасная мама гордо пошла в нем на работу, вызывая зависть сослуживцев, ибо подобный вид туалета трудно было приобрести в то время: в ходу были куртки, юбки и красные косынки, прекрасно сочетавшиеся с гневно вскинутой рукой, сжа-



той в кулак, и победным воплем «Даешь!» Мама от рождения была стройной и хрупкой, поэтому «мешок-платье» оказалось ей даже просторным.

В результате недолгих торгов я купил шелковую с кружевами комбинацию — просто роскошь по тем временам!

Довольный, я принес ее матери, за что сразу получил основательный нагоняй и требование дать клятву никогда в подобных сделках не участвовать. Комбинация была принята. На этом и закончились мои коммерческие способности.

Все эти обменно-торговые дела проходили на так называемых «плешках», коих было две: одна — полууголовная — находилась на лестничной площадке перед центральным телеграфом, другая — в сквере у Большого театра.

На первой — фарцовочной «плешке» — крутились какие-то темные личности и ярко накрашенные девицы. Там набиралась опыта та молодая поросль, потомки которой стали теперь героями осточертевших сериалов и хозяевами жизни.

Другая «плешка», значково-сувенирная, была веселее, да и товар весь на виду: прикреплен к пиджакам и рубашкам — смотри, выбирай, меняйся.

Если не хватало своей фактуры, в руках держали тряпицы с прикрепленными значками и брелочками. Контингент в основном тут был мальчишеский, но попадались и взрослые, даже пожилые люди. Все уже более или менее знали друг друга в лицо и ходили туда, как на работу.

Я ежедневно дефилировал от одной «плешки» к другой, благо времени было много: шли летние каникулы. Везде имел знакомых, все было ново, особенно у телеграфа, где вершились дела нешуточные. Многие мои друзья, добрые и хорошие ребята, начав там свои нехитрые финансовые операции, втянулись в них, стали фарцовщиками, валютчиками, спекулянтами и быстро куда-то пропали.

Мне было интереснее у Большого театра: сквер был всегда забит до отказа, товар переходил из рук в руки и контингент был интернациональный. Иностранцы со своими значками и сувенирами приходили именно сюда.

Мое внимание часто привлекал высокий, худой, сутулый мужчина средних лет в сером потертом пиджаке и такого же цвета кепке «блином». Он каждый день что-то искал, выпрашивал, выменивал и толкался среди нас, мальчишек.

Однажды приятель подозвал меня к кучке ребят, которые о чем-то совещались: «Хочешь посмеяться? Тут есть один поляк, он все время рассказывает про Польшу и говорит, что скоро туда поедет. Спроси его, посмеемся!»

Всею компанией мы двинулись к скамейке, на которой сидел, как оказалось, тот самый усталый и плохо одетый человек. Он был один и о чем-то размышлял. Мы подошли к нему и завели разговор о значках. У него было невыразительное лицо, серые, глубоко посаженные глаза, утиный нос, высокие выпирающие скулы; светлые жидкие волосы выбивались из-под кепки. Держался он скромно, речь была интеллигентная и с нами, довольно нахальными мальчишками, вежливая и доброжелательная.

Наконец я не удержался и снисходительно спросил: «А говорят, Вы поляк? Собираетесь уехать в Польшу?» И вместе со всей компанией приготовился к веселому представлению.

Он тут же оживился и, то ли не видя, то ли не желая замечать насмешки, стал говорить, что он действительно поляк и собирается в Польшу, обязательно туда поедет, а сейчас готовит документы. Вот кончится фестиваль, и он вплотную этим займется. Уже недолго осталось ждать.

Я смотрел на него, и мне стало совсем не смешно. Это некрасивое лицо преобразилось, глаза наполнились внутренним светом. Ни нас, ни Большого театра не было перед ним — в глазах его стоял Эдем, Земля Обетованная, он видел родную, зовущую и неведомую для нас Польшу. Он стал рассказывать, что давно уже хочет уехать туда, и скоро, скоро это произойдет. Какая это прекрасная страна, какие там замечательные люди и как там все хорошо!

Его рассказ по тем временам действительно мог показаться смешным: как можно было обычному человеку уехать в другую страну, когда и по своей-то передвигались с оглядкой? Надо было регистрироваться, прописываться; сельскому на-

селению не выдавались паспорта — чтобы сидели на месте и работали в колхозах. Писать письма за границу было бесполезно — они не доходили. А Польша еще со времен Российской империи считалась мятежной и неблагонадежной, оттуда веял ветер свободы. Даже в школе учителя многозначительно подчеркивали, что там сохранен частный сектор и нет колхозов.

Тогда же, на уроках истории, меня восхитила храбрость повстанцев Тадеуша Костюшко — «косинеров», которые с косами в руках шли на пушки фельдмаршала Суворова. Потом их правнуки повторили подвиг атакой польской кавалерии на немецкие танки. Там — косы, а тут — сабли против пушек.

Эта польская удадь дорогого стоит. Кто-то скажет: безрассудство! Но такими «безрассудствами» мужает нация. Такие «безрассудства» остаются в веках — как битва при Фермопилах. Надо отдать должное, в то время советская историография всегда брала сторону революционеров, потому и запомнились мне «косинеры».

Поездка в Польшу приравнивалась к поездке в капиталистическую страну. И как этот тихий скромный человек собирался уехать туда? На что рассчитывал? Ребята притихли, кто-то пытался посмеяться, но не был поддержан, остальные, видимо, слушали это не в первый раз и потихоньку разошлись.

Я остался с ним один и не мог надивиться перемене, слушал, не отрываясь. Как и каким образом он попал в Россию? Родился здесь или был привезен в детстве? Мне было неловко спрашивать его об этом.

Речь его была чистая, без акцента, говор московский. Как я понял, жил он раньше в Сибири, а в Москву попал «по лимиту» и работал на заводе. «Лимитчики» — это была особая категория граждан: из-за нехватки рабочей силы их набирали в провинции на стройки, заводы и фабрики, давали им временное жилье и прописку, которая спустя десятилетия становилась постоянной. Жили они в общежитиях или в комнатах коммуналок, выделенных предприятиями, на которых они работали.

Такое же жилье было и у моего незнакомца. Свою комнату он превратил в маленькую Польшу. Там были собраны книги, открытки, значки, марки, медали, сувениры и все, что было связано с недосыгаемой родиной. Была даже большая карта, по которой он совершал походы и путешествия.

Жил он один — родители то ли умерли, то ли остались в Сибири. Семьи и друзей у него не было. Все свободное время он отдавал своей единственной и всепоглощающей любви — Польше.

Его обмены с иностранцами шли очень успешно, так как он приносил внушительные и красочные значки разных ударников труда. Эмалевые, из толстого металла, они смотрелись, как ордена. На них были изображены силуэты рабочих в касках, лопаты, отбойные молотки и другие атрибуты ударного труда советского человека. У иностранцев они шли нарасхват, а нам он отдавал их даром. Но эти изображения смотрели на нас со всех плакатов и стендов наглядной агитации и порядком надоели. Некоторые брали их для обмена.

На заводе ему поручили значки уничтожить: пустить под пресс, как устаревшие, но часть наиболее красочных он пожалел и оставил. Теперь они пригодились для обмена.

Не обернулось ли это впоследствии для него большой бедой? Однажды шпик, который каждый день сновал среди нас, выхватил у парня такой значок и стал допытываться, откуда тот его взял. На оборотной стороне был выбит номер и такой значок приравнивался к правительственной награде. Никто поляка не выдал, но шпик значок отобрал и сказал, что разберется.

...Мы сидели с поляком одни на скамейке, вечерняя мгла съела сквер и немногочисленных менял. Спешить было некуда. Перед нами весело плескался фонтан, а сверху грозно нависала квадрига с фасада Большого театра. Я невольно увлекся его рассказами о Польше, об этой неведомой и необыкновенной стране. В те времена она была так же далека от меня, как какой-нибудь Мадагаскар, и ничто не предвещало мне когда-либо увидеть ее.

Коснулся он и злободневной для нас, мальчишек, «женской» темы. Он был холост и мечтал жениться на польке. «Вы

не знаете, какие это женщины! Таких здесь нет!» — он смотрел куда-то вдаль, усмехался и кивал головой. Он-то их, конечно, увидит, а вы? Ну, что тут поделаешь! Они прекрасные хозяйки и необыкновенно хороши собой.

Это действительно было похоже на правду — девушки в польской делегации были как на подбор.

Но особенно меня восхитил рассказ о возрождении уничтоженной во время войны Варшавы: как поляки восстанавливают ее древний облик, строят заново разрушенные дворцы, замки, костелы; целые улицы и площади появляются из небытия. Разоренная, понесшая огромные жертвы страна заново создает свою историю, свое прошлое. Наверное, единственный пример в мировой истории, когда на пустырях строятся не новые кварталы, а возрождаются старые.

Слушать это было тем более удивительно, что в родной, вполне благополучной Москве сносились ценнейшие, прекрасно сохранившиеся памятники архитектуры, тысячи их были уничтожены безвозвратно.

Эти «подвиги» власть снимала на кинолентку в назидание потомству. Сейчас мы можем видеть эти жуткие кадры кинохроники тридцатых годов. Скрупулезно, не без гордости зафиксированы взрывы и разрушения церквей, соборов, снос старинных кварталов столицы.

Сцены, достойные продолжить серию офортот Франциско Гойи — «Капричос»: кощунники роются в мощах святых, а комсомольцы, ряженные в чертей с рогами, лупят крестами по голове ряженого же попа!

А чего стоит фильм, где толстомордые мужики в буденовках и долгополых шинелях, взявшись за руки, кружат медленный хоровод вокруг огромного костра, а в нем — иконы! Сквозь бушующее пламя смотрят на нас Спаситель, Богородица, Святой Николай...

Сотни тысяч бесценных творений ума и рук человеческих сгорели в таких кострах, были изрублены в щепки. Этот вандализм страшнее сжигания книг. Тираж можно восстановить. Иконы же не вернуть никогда. Святая икона — душа народа, а душа праведная ни в каком огне не горит. Сколько еще стра-

на будет расплачиваться за эти святотатства, одному Богу известно. Покаяния не было.

А Первопрестольной и сегодня не повезло. Теперь без огласки и всяких «генеральных планов» ее сносят нувориши. Взамен домов-памятников как грибы растут новоделы-муляжи или уродливые стекляшки, которые можно встретить в любой китайской или американской дыре.

...Той душной летней ночью мы долго еще сидели в опустевшем сквере, а он все рассказывал и рассказывал. Помню, меня удивило, что в социалистической Польше можно свободно ходить в церковь, слушать и смотреть религиозные передачи. Время было хрущевское, и власть снова с остервенением набросилась на верующих. «Кукурузник» даже прилюдно пообещал «похоронить последнего попа». Начали снова закрывать и рушить церкви. Но будем справедливы: делал он и добрые дела: так, этот фестиваль проводился по его инициативе.

Мой незнакомец говорил уже как бы сам для себя, переживая что-то личное. Пора было уходить, транспорт заканчивал свою работу. Поляк встрепенулся словно ото сна и заторопился домой, так как жил где-то далеко на окраине. Мы распрощались, и каждый заспешил в свою сторону.

Я так и не узнал его имени.

Фестиваль необратимо подходил к концу. Наступил день его закрытия, который не обошелся для меня без приключений.

Церемония закрытия должна была проходить на стадионе в Лужниках, сопровождаться карнавалом и театрализованным представлением. Через центральные улицы на стадион шла кавалькада грузовиков с огромными фигурами разных литературных героев. Они были вырезаны из фанеры и закреплены на специальных платформах.

Я стоял на Тверской, и мне приглянулся Дон Кихот. Когда грузовик оказался рядом, я быстро уцепился за платформу и, взобравшись по конструкции, оседлал кабальеро, надеясь таким образом «зайцем» попасть на стадион.

Известно, что дурной пример — заразителен, и я это почувствовал довольно быстро. За платформу стали цеплять-

ся новые люди. Мне приходилось забираться все выше и выше.

Вскоре идалго облепили со всех сторон. Какой-то парень просто повис на моих ногах. Машины, миновав Манежную площадь, наддали ходу — и тут неожиданно конструкция со страшным треском развалилась! Мистика? Но «рыцарю печального образа» и здесь не повезло. Он рассыпался на части — единственный литературный герой из всей кавалькады.

Машины остановились. Как говорится, дуракам — везет: мой добрый ангел-хранитель с высоты двухэтажного дома благополучно посадил меня «на пятую точку», так, что я ничего не почувствовал и не сразу понял, что же произошло. Вокруг лежали люди, многие без сознания. Поднялась суета, приехали машины скорой помощи, появились санитары с носилками. Я же в полном недоумении наблюдал за происходящим — на мне не было ни ссадины, ни царапины, ни ушиба.

Окончание фестиваля получилось грустным. Настроение было не праздничным, перед глазами так и стоял тот чистенький, красивый — с густой шапкой каштановых волос — паренек в нарядном костюмчике, что висел у меня на ногах. Спустя мгновение он лежал на асфальте с разбитой головой... Какая уж тут церемония закрытия. Человек предполагает — Бог располагает. Телевизора у нас не было, и как проходило закрытие, я так и не увидел.

«Плешка» у Большого театра доживала последние дни. Среди редющей толпы я еще видел порой худую сутулую фигуру своего незнакомца. Но все было уже не то: обмен был хилый, да и милиция стала разгонять эти незаконные сборища. Загребли в отделение и меня, вызвали отца. Отчитали, правда, вполне беззлобно: «Фестиваль закончился и нечего шлаться без дела!» Отпустили с миром.

Все снова погрузилось в серую скуку с хвастливой трескотней и бесконечными угрозами в адрес стран империализма, чьи дети еще несколько дней назад так радовали москвичей своими юными, открытыми лицами. Плохо верилось те-

перь в их реакционность и милитаризм. Приподнятый было железный занавес опустился. На этот раз надолго.

Поляка я больше не видел.

Прошли десятилетия. Все поменялось в нашей жизни. Когда-то неведомая для меня Польша стала почти своей. Появились близкие друзья в Варшаве. Среди них — личность вполне легендарная: польский Гаврош, мальчишкой участвовавший в Варшавском восстании — в отличие от прототипа, он собирал не патроны, а гранаты.

Любимая крестница стала полонисткой и говорит по-польски так же, как по-русски, и даже написала книгу о польском поэте Казимеже Бродзинском — наверное, и в самой Польше мало кому известном!

Моя теща, добрая и простая русская женщина, так любила полонез Огиньского «Прощание с родиной», что завещала похоронить себя под эту мелодию, что и было выполнено. Светлая ей память!

Сейчас этот полонез часто можно слышать почему-то в московском метро от уличных музыкантов, и каждый раз набегают слезы от проникновенных аккордов.

Любовь к Польше и всему польскому доходила порой до абсурда: один мой приятель так свихнулся на прекрасных полячках, что выучил польский язык и по несколько раз в год ездил в Польшу, заведя там огромное количество знакомств. После каждой поездки восторгам не было конца.

Но, как говорила мудрая Анна Ахматова, «нет ничего скучнее, чем слушать рассказ о чужом романе». Приятель таки женился на польке, но — к счастью для обоих — брак оказался недолгим.

Справедливости ради надо отметить, что любовь приятеля к Польше объяснялась не только романтическими чувствами, но и вполне практическими причинами: вопреки пословице «курица не птица, Польша — не заграница» Польша была для нас именно вожделенной заграницей и польские товары прельщали своим несоветским видом и качеством.

Польская косметика, одежда, бижутерия — все это привозилось в Москву и распродалось по знакомым. Сами поляки



не гнушались подобным промыслом: все тот же приятель ехал однажды в лифте столичной гостиницы со знаменитым польским актером, известным героем сериала-боевика, любимцем московских домохозяек и мальчишек. Наш друг смотрел на «звезду» с благоговением, как вдруг «герой» на ломаном русском языке предложил ему купить зонтик! Приятель струсил.

Сам я неоднократно проезжал по этой стране, утопающей в яблоневых и вишневых садах, которые буйно цветут в мае. Около каждой деревни меня встречал крест, украшенный цветами, или образ Девы Марии с мерцающей в ночи лампадой — маленьким маяком добра и света бесчисленным путникам.

Вдоль дорог на столбах я видел большие косматые гнезда с аистами.

Однажды издали с удивлением наблюдал солидного господина в черном костюме и белой рубашке. Он важно и неспешно обходил по краю небольшое поле с какими-то посадками, вокруг был лес. Ходил долго. «Какой аккуратный и культурный народ, — думал я, — даже на сельские работы одевает костюмы. Вот она, Европа!» «Наверное, агроном!» — осенило меня. Когда джентльмен подошел поближе, я разглядел аиста!

Поляки оказались приветливыми и хлебосольными людьми. На первой же автозаправке или в мотеле радушные хозяйки до отвала накормят вас домашней едой. Варшавянки запомнились своими веселыми быстрыми глазами и крепкой статью.

Увидел я и возрожденную Варшаву, ее дворцы, замки, костелы, «Старомясто» с добродушными извозчиками и сонными лошадьми. За прошедшие десятилетия отстроенные фасады домов обтерлись, облупились и потускнели, и только глаз очень вредного туриста уличит варшавян в так называемом «новоделе». Церкви, переполненные верующими, ухоженные кладбища и парки — все, о чем я когда-то слышал от моего незнакомца, довелось мне увидеть собственными глазами.

В Варшаве было мне «одно виденье, непостижимое уму»: проезжая город — уже на выезде — и глядя в окно автобуса, я встретился взглядом с девушкой-подростком, сидящей в ин-

валидной коляске, которую толкала, видимо, ее мама. Девушка весело смеялась и приветливо махала рукой. Вокруг никого не было. Через минуту скрылся город и исчезла широкая улыбка девушки, которую я помню и сейчас.

Спустя две недели я возвращался обратно и опять ехал через Варшаву. Провел в ней день и к вечеру покидал полюбившийся город. На окраине, выезжая из него, последнее, что я видел, опять была девушка в инвалидной коляске, которую быстро везла пожилая женщина. Она спешила — собиралась гроза, порывистый ветер закручивал столбы пыли, первые тяжелые капли дождя падали на горячий асфальт.

Девушка была хороша собой, с тонкими благородными чертами лица; ее «долгие» темные волосы развевались волнами по ветру. Вся она была устремлена куда-то вдаль, смотрела печально и напряженно. Вокруг опять не было ни души. Сцена повторилась с точностью до мелочей.

Что это было? Простое совпадение? Вряд ли. Я в них не верю. Символ Варшавы — Сирена — странная девушка без ног, с рыбьим хвостом и мечом в руке. Мне кажется, это она приветливо поздоровалась и грустно попрощалась со мной.

Каждой стране, в которой пришлось побывать, я мысленно давал определение: Германия — ладно скроенная и крепко сшитая; Франция — прекрасная; Италия — чудная; Чехия — ласковая и добрая.

А Польша? Гордая — другого слова не подберешь. Много там нашего несуразного славянского, а потому понятного и близкого. С Польши начинаем мы прикасаться к «священным камням Европы».

И потому, каждый раз, переезжая по мосту Вислу, я радуюсь встрече. А первое доброе чувство к этой стране заронил в те далекие пятидесятые годы один поляк.

...Плоская затертая кепка, утиный нос, худое скуластое лицо, а в глазах — Земля Обетованная, Блаженная страна — Польша.

Увидел ли он ее?

## Франкфурт

Во Франкфурте шел снег.

Он смотрел на белые хлопья, парящие в черном небе, и радовался, что сбежал от Абигайль. Она настаивала на «Эбби», но он упорно называл ее Абигайль — ему нравилась округлая старомодность этого имени. В самой Абигайль не было ничего округлого — составленная из сплошных острых углов, ум она тоже имела острый — все схватывала на лету, но совершенно измучила его своей британской чопорностью и пунктуальностью.

Рейс на Москву опять отложили. Он тихо радовался этой отсрочке — в Москву не хотелось совершенно, хотя в России он не бывал... да лет пять или шесть. Он так устал от бесконечных интервью и заседаний, а там, в Москве, его ждала нудная работа в жюри какого-то очередного кинофестиваля. Покажут, правда, — вне конкурса, разумеется! — новый фильм известнейшего режиссера по его собственной книге. Вот она, слава.

Снег падал и падал, среди хлопьев медленно ворочались тяжелые туши самолетов — как выброшенные на берег киты. Время от времени по радио что-то неразборчиво бормотали, на том общем для всех вокзалов и аэропортов наречии, которое он так хорошо изучил за последнее время.

Он уже выпил шесть чашек кофе, три раза обошел магазинчики, торгующие всякой туристической чепухой —

в одном из них стояла на полке его последняя книга. Он, воровато оглянувшись, взял в руки тяжеленький томик и, не удержавшись, понюхал мелованные страницы — пахло типографской краской.

На обороте наличествовал и его собственный портрет — мужественный и романтичный настолько, что пара сотен новых восторженных читательниц была гарантирована. Это Абигаиль настояла, напомнил он себе, испытывая сложную гамму чувств — от чистой детской радости до легкого стыда.

Он все казался себе самозванцем, эдаким Хлестаковым от литературы. Все ждал настоящего ревизора. Прошло уже... Да лет двенадцать прошло с тех пор, как он, никому не известный русский писатель из никому неведомого приморского городка вырвался вдруг на первые строчки каких-то рейтингов, за ним стали охотиться журналисты, а книжка его, написанная потом и кровью, была переведена на английский, потом неожиданно вошла в число мировых бестселлеров, и по ней сняли фильм — ужасный, надо сказать, но принесший кучу денег ушлому продюсеру, поставившему на правильную лошадку.

Он все еще не привык к себе: новому, известному, относительно богатому — тьфу, тьфу! Не сглазить бы! Все еще по старой привычке пугался, покупая дорогую вещь: вот этот навороченный ноутбук, купленный на последний гонорар, или это длинное темно-синее пальто — кашемир, черт возьми! Или ботинки — он вытянул ноги, любуясь их мягким самодовольным блеском.

Абигаиль ждала его в Москве, а он гулял по Европе. Сначала он уехал в Брюссель, потом в Брюгге, где еще ни разу не был, и целый день бродил по узеньким улочкам, плавал по каналам на катере, пил пиво в маленьких итальянских трактирах и даже прокатился в карете, запряженной парой могучих мохноногих битюгов. Зачем-то влез на ратушную башню — триста шестьдесят две ступеньки, будь они прокляты. Куда тебя, идиот, понесло! — думал он, цепляясь за толстый канат, заменявший перила, и прижимаясь к стене, чтобы пропустить девицу, спускающуюся сверху. Старый ты дурак...

А сам жадно впитывал, запоминал, складывал в заветную коробочку и косые лучи света с клубящимися пылинками, и каменный штопор лестницы, и мягкое колыханье юной груди, обтянутой белым свитером — проплывшей в каких-то десяти сантиметрах от его заинтересованно заострившегося носа. Далее проследовала ее дежурная улыбка, настоящая на мятной жвачке, и настолько равнодушный взгляд, что он почувствовал себя некой архитектурной деталью, барельефом, каменным наростом на стене. Вот корова!

Но там, наверху, было так прекрасно, что он, забыв обо всем, чуть не час изучал сложное колокольное устройство — какие-то блоки, зубчатые колеса, передачи и толстый блестящий барабан, ошетилившийся металлическими шпенечками.

Потом задумчиво рассматривал красные черепичные крыши, паутину улочек и каналов, синие дали и бегущий на горизонте поезд, бликующий на солнце вереницей окон.

Сейчас, сидя в стеклянном аквариуме аэропорта и глядя на парящие в черноте белые хлопья, он с удовольствием вспоминал игрушечный Брюгге — день был великолепный, яркий, солнечный, кружились желтые листья, лебедь плыл по черной воде канала...

Во дворе монастыря бенедиктинок, пронизанном полосами света и тени, шла по зеленой траве черно-белая монашка с букетом желтых нарциссов в руках; и он задохнулся от счастья, от средневековой красоты этой картинки, услужливо ему показанной, дабы когда-нибудь он смог вставить ее в очередной свой роман — эту монашку с нарциссами! — и воображение заработало, заработало, и что-то стало даже мерещиться эдакое... неуловимое пока, невнятное.

Объявили посадку на Лондон.

Он вытянул ноги и закрыл глаза. Устал, устал. После Брюсселя вернулся во Франкфурт — дождавшись, чтобы Абилай улетела в Москву. Хватит с него всяких конференций! Улыбаться, важно кивать, говорить всякую чушь, на ходу исправляемому переводом Абилай...

А каковы Ваши творческие планы? А что Вы думаете о том-то и об этом? Тьфу! На-до-е-ло. Он улыбнулся, вспомнив

лицо Абигайль, когда она, внутренне кипя, вежливо выговаривала ему за последнюю фразу, которую он произнес на своем ужасающем немецком: Бэзил, зачем же Вы...

Бэзил! Это надо же! Вася я, Ва-ся!

...Васечка! Спаси меня, спаси! С тяжелым грохотом накатила волна, резко запахло водорослями, солнцем, морем. Она хохотала, дрыгая ногами — отбивалась от нападавшего на нее Кэпа. Тот радостно лаял, прыгал и вилял хвостом, пытаясь стянуть с ноги желтый пластиковый шлепок...

Он открыл глаза.

Что-то... что-то случилось.

Не то звук, не то аромат — что-то толкнуло его, заставило вскочить на ноги.

Рейс объявили?

Нет, не то...

Волна...

И тут он увидел: она шла по движущейся дорожке далеко впереди, к лондонскому терминалу. Это была она, сомнения нет. Ее походка, ее манера, ее пышный — лисий! — хвост волос за спиной. И он побежал. Он не догадался зайти на дорожку и бежал рядом, пугая сонных пассажиров. Араб-уборщик вытаращил на него глаза.

...Он бежал к ней, увязая в песке, и наступил на ракушку. Черт! Прыгая на одной ноге, настиг, повалил на песок, упал на нее сверху, ощутив всем своим телом, как вздрагивает она от смеха — Кэп умчался, унося добычу. Она хохотала, не могла остановиться, и он...

— Лиса-а-а! — закричал он, — Али-са!

Она медленно обернулась. Постарела, слегка располнела, но все еще хороша, ухожена...

Она медленно улыбнулась — и словно улыбка проявила ее — ту, прежнюю, молодую — и ямочки появились на щеках, и милые светло-карие глаза со слегка опущенными уголками улыбнулись...

Алиса! Лиса моя...

...С грохотом набегала волна, уходила, набегала другая, кричали чайки, где-то лаял Кэп, а он смотрел в эти янтарные

глаза, все темневшие и темневшие от желания, дышал ее неровным дыханием, жил биением ее сердца...

Волна отошла.

— Как ты?

— Как ты?

— Ты откуда?

— Ты в Лондон?

— Как дети?

— Как твои дела?

— Я читала твою последнюю...

— Я все еще...

— Прощай!

— Пока...

— Пиши!

Я пишу. Я только и делаю, что пишу, думал он мрачно, глядя, как идет она на свой лондонский самолет — элгантная немолодая дама, рыжая Лиса, Алиска, чужая, своя до последней жилочки...

А тот, другой, живущий в нем, опять все замечал и запоминал: и как разлетаются полы ее плаща, и как отливает золотом пышный хвост, и как побелели его пальцы, судорожно вцепившиеся в разделившее их стекло, как окаменело от улыбки лицо, как беззвучно она кричит что-то, и он отвечает так же беззвучно, и как безнадежно и неповторимо все прошло... непоправимо.

Он вернулся тогда с вокзала, проводив ее, вошел в пустой дом, постоял, привыкая к тишине. Вчера утром он слышал, как она пела в другой комнате — причесывалась перед окном, вся освещенная солнцем, грива рыжих волос взметнулась, как волна...

Такого пронзительного счастья он не испытывал никогда в жизни.

Никогда он не был так несчастен.

В самолете выпил водки. В ушах шумело, давило в висках. Старый дурак, думал он угрюмо. Просто старый дурак, и все. Набежала волна, мягко отошла, шурша по камням. Другая, третья... он засыпал. По волнам приплыла строка, чужая чья-

то, прекрасная, он никак не мог ее ухватить — все относилось: и море Черное... и море Черное... шумит...

И море Черное, витийствуя, шумит...

...Он проснулся и некоторое время лежал, глядя в потолок. По потолку ходили световые блики, солнечные волны ударялись о стены, дробились, убегали и прибегали. Чайки кричали пронзительно, тревожно. Что-то должно случиться, что-то должно, подумал он. Ах да! Она же приезжает сегодня!

Он лежал, лентясь, закинув руки за голову, не думая ни о чем — и о тысяче вещей сразу: о набегавших волнах, о чайках, о том, что неплохо бы выпить пивка, а кошке надо бы достать рыбы, и где, интересно, болтался вчера старший? Да, и позвонить жене! И во сколько там поезд? Не опоздать, встретить эту неведомую Лису-Алису...

Интересно, какая она? Рыжая небось — ведь не зря Лиса. А он кот Базилио. Хмыкнул, потянулся. Эх, надо вставать! Что-то такое снилось, странное — снег, самолеты... строчки какие-то: море Черное шумит... витийствуя, шумит...

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

## Спасти Книгу!

Он бежал из последних сил.

Вещевой мешок, в котором лежала драгоценная Книга, заботливо завернутая в мягкую ткань, тяжело ударял его по спине, как бы подгоняя: вперед, вперед! Он знал, что ему не спастись. Его не отпустят, никогда не отпустят...

А вдруг...

Вдруг удастся спасти Книгу! Труд всей его жизни — лучшее, что Он создал! Только бы добраться до Портала, только бы опередить погоню — ему-то и нужно всего три минуты! Всего три — развязать мешок, сорвать ткань и кинуть Книгу в разверстый зев Портала — он специально заказал тяжелый переплет, чтобы не снесло ветром. Чтобы попасть наверняка.

А Там...



## СПАСТИ КНИГУ!

Там — примут. И оценят! Оценят по достоинству! Не то, что здесь...

Все его предали, все!

И Друг, и Возлюбленная — «Прости, я не перенесу такого позора!»

Предали, продали, пропили, променяли ни на грош...

Сердце колотилось, бока ходили ходуном, ноги не слушались. Задыхаясь и кашляя, Онн упал на землю — передохнуть, немножко передохнуть... немножко... немно...

Зеленый мох был мягким и слегка влажным, приятно холодя его разгоряченное лицо. Прямо перед глазами трепетали тонкие оранжевые былинки цветущего мха, высоко в ветвях свистела неведомая птица...

Он резко очнулся от забытья. Что-то изменилось вокруг. Онн прислушался — издали доносился визгливый лай. Собаки! Собаки...

Надо бежать! Скорей, скорей, надо успеть! До Горы — всего-то ничего, а Собаки не полезут в гору, они не любят крутизны, и никакие Стражники с ними не справятся, а он заберется на самый верх, туда, где Портал, он опередит Стражников, они слишком тяжелые в своих доспехах, где им лазить по горным щелям и кручам, он успеет, он справится, он...

Он упал.

Стараясь подняться, Онн только еще больше запутался в сетке, упавшей на него сверху. Его пинками поставили на ноги, сняли сетку, защелкнули наручники. Один из Стражников рывком сорвал мешок с Книгой — сразу стало холодно мокрой от пота спине. У дерева, вывалив красные языки, лежали Собаки. Они смотрели на него равнодушно — он больше не бежал и перестал быть добычей, которую надо загонять. Он перестал быть.

— Пошли! Шевелись! Судья ждать не любит.

Судья был стар. Старый, мудрый, усталый — он равнодушно смотрел на череду подсудимых, проходящих перед ним день ото дня уже... да уже, пожалуй, пятый десяток лет. Вот и еще один.

Судья вздохнул.

— Ну, что там у нас?

Стражник с поклоном подал ему книгу. Судья поменял очки, небрежно полистал страницы, в одном месте хмыкнул и посмотрел на подсудимого поверх очков.

— Мда-а. Фэнтези, как и следовало ожидать. Взглянете? — он передал было книгу Первому помощнику, но тот раздраженно отмахнулся: он был еще старше Судьи и ничему уже не удивлялся в этой жизни, полной козней, интриг и несправедливостей. Второй помощник, молодой и рьяный, книгу взял и уткнулся в нее носом — он был близорук.

— Я думаю, всем все ясно? Что там еще за ним?

— Пять простых предупреждений, три строгих и шесть месяцев принудительных работ.

— Да-а, закоренелый тип. Ну что ж, остаются Рудники. Подсудимый, Вам есть что сказать Суду?

— Ваша Честь!

— Только коротко.

— Ваша Честь! Господа! Я... Я не хотел ничего плохого! Клянусь! Мной... Мной руководило чувство... Чувство Прекрасного!

— Прекрасного? Вы называете вот ЭТО — прекрасным?!

— Да! Да! Что такое наше существование! Суета, серость, рутина, скука — одно и то же, день за днем, год за годом... Мне хотелось немножко украсить жизнь, подарить всем Мечту! Сказку! Волшебство! Веру в Чудо...

— В чудо?

— Да! Вы же знаете... Не можете не знать... что там, за границами Бытия, есть многое... таинственное, неизведанное! Другие миры, загадочные формы жизни... Мы молчим об этом, закрываем глаза, а Оно есть! И я хотел донести до всех... я хотел..

Подсудимый замолчал. Ком стоял у него в горле, он боялся заплакать — только этого не хватало. Героя из него не получилось. Все кончено.

Их привели на площадь, заставили подняться на помост. В центр площади Стражники сносили кипы книг, складывали в кучу. Плеснули горячки, и огонь занялся. Бумага с печатным текстом горела плохо, но все же постепенно разгоре-

лась. Едкий дым метался по площади. Зачитали приговор. Голос Судьи относил ветром, он надсаживался, сдвигал брови и грозил заскорузылым пальцем:

— ...каждому должно быть... порочному жанру фэнтези... нужна добротная реалистическая... как никогда... суровая действительность... неповадно будет... и мы не позволим...

Толпа стояла молча — у многих горожан среди приговоренных были родственники и знакомые. Он увидел Друга — тот скорбно глядел на него, поджав губы. А ведь я тебя предупреждал — ясно читалось в его взгляде, — предупреждал: брось это фэнтези! Ты рискуешь, ходишь по краю, рискуешь не только своей жизнью, но и жизнями своих близких! Пиши детективы, пиши рассказы для детей, любовные романы, наконец! Ну, и ты видишь? Я был прав!

Прав, прав. Ты всегда прав. Поэтому я здесь, а ты — там.

Он метался взглядом по толпе, вглядываясь в каждую женскую фигуру — но Возлюбленной не было видно — может, это и к лучшему. А то Он ~~бы~~ не выдержал — и так же на пределе, скорей бы все это кончилось... Скорей бы... Скорей...

Все кончилось.

Судья снял парик, расправил две пары ушей и с наслаждением почесал голову длинным черным когтем. Стянув шелковую мантию — шерсть на теле сразу стала дыбом — он аккуратно сложил ее и, взяв свою старую корзинку, вышел из здания суда. Первый помощник давно уже улетел, припадая на правое крыло, прокушенное соперником в битве за благосклонность некоей красавицы — он был в свое время весьма лихим дамским угодником!

Второй помощник — робкий близорукий вельф — остался прибираться в зале суда. И это он, выпускник престижнейшего Гваррварда! Какая уж тут карьера, в этом заштатном городишке... Эх! Он вздохнул и полез под стол, куда закатился полосатый молоток Судьи.

День клонился к вечеру. Костер догорел, толпа давно разошлась, только два сумасшедших тронля рылись в раскаленных углях, да старая крики-моррка собирала по урнам пустые бутылки да объедки.

Из-за угла показалась процессия приговоренных — их уже переодели в каторжные оранжевые робы и заковали в новенькие блестящие кандалы. Стражники с трезубыми копьями шли по обеим сторонам процессии, помахивая саженными хвостами и придерживая за цепи Собак, которые гримасничали, лаяли и заливались визгливым хохотом. Приговоренные плелись, еле передвигая ноги, понукаемые Стражниками — одинаковые, как оранжевые горошины в стручке фасолии.

— Прямо гроблина от вельфа не отличишь, — пробормотал Судья себе под нос. Но вот этого он узнал — последнего Подсудимого: одно ухо у него было разорвано, отчего казалось, что на голове с левой стороны не пара ушей, как обычно, а целых три. Судья снова хмыкнул, вспомнив пассаж, который он успел прочесть в книжке этого бедолаги — прочесть и зафиксировать цепкой судейской памятью:

«Едешь откуда-нибудь в такси, небо приобретает любимый сиреневый цвет, машина взлетает и падает, по набережным выстраиваются микрорайоны, и, по мере приближения к центру, впереди все гуще светят хвостовые огни других машин, и эта толпа красных огней, все более плотная, дружно, словно стадо с тяжкими подсвеченными задницами, сворачивает, несется, толкается, останавливается перед дальним светофором, такси нагоняет остановившихся, въезжает в толпу, которая тут же распадается на нормальные отдельные машины, справа кавказец раздраженно-бессмысленно постукивает по баранке отчаянно украшенной «Волги», слева одинокая девушка предлагает набор жизненных тайн для разгадывания и погружения, без аффектации, но и не простодушно держа руль «шестерки»; небо через темную красноту переходит в синее — и все разъезжаются по переулкам вокруг Пушкинской и Маяковки и пристают к темным тротуарам — приплыли...»

Не-ет, надо же такое придумать! И как только им это в голову приходит...

И, покачав головой, Судья поспешил домой. Там его ждал нехитрый ужин и недочитанная книжка старой доброй Урсулы Ле Гуин.

Елизавета Паршина

## **Разведка без мифов<sup>1</sup>**

### **«Интурист»**

В «Интуристе» я начала работать еще до поездки в Испанию. Это, с позволения сказать, акционерное общество было образовано в двадцать девятом году и на самом деле являлось чистойшей государственной структурой, кочевавшей из одного ведомства в другое.

В тридцать пятом году я окончила Институт новых языков, созданный «Интуристом» для подготовки своих переводчиков. Мое зачисление в «Интурист» было несколько необычным, даже комичным.

Во время учебы в институте мы вдвоем с подружкой жили в общежитии, а когда получили дипломы, оказались в тупике: на работу нас не принимали, потому что мы не имели постоянной прописки, а прописку нам не давали, потому что мы не имели работы — типичная советская мышеловка. Мы уже месяц ночевали на вокзале, питались кое-как и пытались пробиться на прием к председателю правления «Интуриста» с жалобой.

Однажды мы сидели у него в приемной, а в кабинете шло какое-то заседание с участием «высоких персон» — представителей правительства, НКВД и тому подобное. Секретарем председателя была жена министра народного образования Бубнова, вскорее, кстати сказать, арестованного. Она была

---

<sup>1</sup> © 1994 Е. Паршина, Л. Паршин.

доброй женщиной и не выгоняла нас, а заседание затягивалось. Было похоже, что и в этот раз нас снова не примут.

В этот момент в приемной неизвестно откуда появился котенок и стал бесшумно прогуливаться между кадками с экзотическими растениями. У меня появилась идея поймать котенка, привязать к нему жалобу и запустить в кабинет.

Так мы и сделали. Аккуратно написали записку, тщательно сложили ее, поймали котенка и привязали записку на шею. Как только секретаршу вызвали в кабинет, мы тут же впихнули вслед за ней котенка. Мельком я увидела, что там сидит человек двадцать очень солидных людей.

Мы стали ждать, и эффект вскоре последовал. Секретарша вышла, еле сдерживая смех. Записку заметили, прочитали, хорошо посмеялись, и вопрос о нашем зачислении был решен немедленно. Начальник Хозяйственного управления Георгий Панин получил приказ «оформить и разместить».

Нам дали по койке в небольшом общежитии, устроенном в отеле «Новомосковский», и в тот же день зачислили в штат переводчиков Московской конторы «Интуриста».

Оттуда в тридцать шестом году Главное разведывательное управление направило меня в Испанию, поэтому после возвращения я туда и вернулась, правда, в совсем ином уже качестве: два ордена, да еще у женщины, были тогда в диковинку.

Руководство предложило мне должность директора Московской конторы «Интуриста». Потом оказалось, что я была первым и последним директором этой конторы, который не был арестован.

До сих пор не понимаю, чем это объяснить. В ведении Московской конторы находились четыре лучших в стране гостиницы: «Националь», «Метрополь», «Савой» и «Новомосковская» на Балчуге. В штате было более ста переводчиков, бухгалтерия человек из десяти, гараж на двести машин; другие службы, необходимые для обеспечения путешествий групп и одиночных туристов.

Контора обеспечивала билеты на все виды транспорта, места в гостиницах, билеты в театры и посещение других мест, как в развлекательных, так и в деловых целях. В финансовых и

хозяйственных вопросах я совершенно не разбиралась. Эту работу вело Хозяйственное управление, а я должна была ее контролировать, разумеется, чисто формально.

Однажды произошло недоразумение с будущим Президентом Соединенных Штатов Америки, Джоном Кеннеди. Тогда он был еще студентом и приехал в Советский Союз как турист. Заведующий Бюро путешествий доложил мне, что на самолет, вылетающий в Тбилиси, по ошибке продано два билета на одно место. Поскольку одной из пострадавших оказалась дама, Джону Кеннеди, — а вторым оказался именно он, — пришлось весь рейс просидеть на полу. Я приказала выплатить ему компенсацию в размере стоимости билета, и он не стал жаловаться. Тем дело и кончилось.

Работы было много. Это разработка маршрутов, комплектование групп переводчиками и экскурсоводами, договоры с объектами посещения, организация различных встреч, разбор всяческих инцидентов: то кто-то отстанет от группы, то заболел, то напьется, то жалуются на обслуживание, то фотографируют секретные объекты...

И так с утра до ночи. Мое начальство считало, что с работой я справляюсь хорошо, да и у НКВД ко мне претензий не было. Они обращались ко мне довольно редко. Вероятно, все и без меня было ими достаточно охвачено.

Чаще всего это были просьбы предоставить кому-то строго определенную переводчицу либо переводчицу, специально присланную; просьбы дать кому-то внеочередной отпуск или не занимать кого-нибудь плановой работой; просьбы об особом распределении гостиничных номеров или транспортных билетов и так далее.

Разумеется, никакими объяснениями это не сопровождалось. Информация в НКВД стекалась от переводчиц — правда, я заметила, что не от всех, от горничных, коридорных, работников бюро обслуживания, шоферов и так далее. Информаторами были также мой шофер и обе моих секретарши.

Был случай, что меня попросили задержать подольше у себя руководителя то ли английской, то ли американской группы. Фамилия у него была русская — Магидов. Когда он пришел

ко мне на прием, чтобы согласовать план поездки, я «проводила совещание» и промариновала его в приемной два часа.

Потом я вышла к нему с извинениями, но он нисколько не возмущался, сидел с бумажками на коленях и вид имел довольно подавленный. Вероятно, он хорошо представлял, что происходит сейчас в его номере. Вскоре в печати опубликовали сообщение, что Магидов находился у нас с разведывательными целями.

Запомнился мне и случай довольно тонкой работы нашей контрразведки, так как это на них совершенно не похоже. Руководитель одной американской группы ни на секунду не расставался со своим шикарным портфелем. Это сразу бросалось в глаза.

Переводчицей ему дали Клаву Богданову, самую эффектную переводчицу в «Интуристе». До портфеля, видимо, добраться никак не удавалось.

И вот, как-то ему нужно было куда-то ехать, и к подъезду подали машину. Только они уселись на заднем сиденье — даму он, естественно, пропустил вперед, в дверях гостиницы появился служащий, окликнул Клаву и помахал забытым ею зонтиком. Клава с досадой на лице замялась: не перелезает же через интуриста, а тот галантно вышел за зонтиком. В ту же секунду машина рванула с места и исчезла, увозя шикарный портфель.

Я входила в это время в здание и видела всю эту сцену. Руководитель группы совершенно красный, с выпученными глазами бросился ко мне, но английский я не знала и только минуты через две сообразила, в чем дело.

Вызвала диспетчера, со строевой выправкой парня, который невозмутимо объяснил, что машина поехала заправляться. «Так тебе и надо, — подумала я без всякого сочувствия, — не будешь зевать».

Представляю, что было у него в портфеле! Впрочем, не исключено, что и дезинформация — что-то уж слишком явно продемонстрировал он его ценность.

Однажды ко мне домой пришла жена старшего сына Калинина, «всесоюзного старосты», и попросила помочь найти ра-



боту. Ее звали Наташа Гуковская. У них в семье произошли аресты. Был арестован и муж ее сестры, после чего Наташу уволили из Разведуправления.

Я могла взять ее на должность заведующей методическим кабинетом, но должна была сначала согласовать это с начальником отдела кадров. При этом я не сказала ему о ее семейных проблемах. Все равно он будет советоваться с НКВД, а там об арестах, конечно, знают, причем не только о произведенных, но и о намечаемых.

Все подобного рода переговоры ведутся в устной форме без свидетелей — официальный запрос выглядел бы как вызов. Оперативная работа вокруг подозреваемых ведется гораздо интенсивнее, чем это отражается в бумагах, поэтому я до сих пор с большой осторожностью отношусь к «неожиданно обнаружившимся» документам о преследовании каких-либо лиц.

Несмотря на то, что Наташу я охарактеризовала как можно лучше, дня через три последовал категорический запрет. Я рассказала ей все, как есть, впрочем, она и сама была достаточно опытна в делах разведки и знала механику работы этих служб.

Этот случай не прервал нашей дружбы, и я по-прежнему бывала в их доме на Малой Никитской улице вместе с мужем, Артуром Спрогисом. Мысль об опасности даже не приходила мне в голову. Я была совершенно убеждена, что зря никого не арестовывают, а за нами с Артуром никаких грехов не было.

Артур Карлович Спрогис родился в девятьсот четвертом году в Риге. С четырнадцати лет он уже был разведчиком партизанского отряда «Дикли», в пятнадцать — красноармеец, разведчик Седьмого Латышского полка; в шестнадцать — сотрудник оперативного отдела ВЧК в Москве.

Затем служба в пограничных войсках, учеба в Высшей пограничной школе ОГПУ.

С тридцатого года Спрогис работал уполномоченным Спецбюро Особого отдела ГПУ Белоруссии и начальником Специальной разведывательно-диверсионной школы. Тридцать ше-

стой—тридцать седьмой годы советник по разведке в Испании. После возвращения окончил академию имени Фрунзе.

Во время войны — начальник Штаба партизанского движения Латвии, потом заведующий Военным отделом Центрального Комитета Компартии Латвии.

Я познакомилась с ним в Испании, когда меня прикомандировали переводчицей в его разведывательно-диверсионный отряд.

Ему было за тридцать, среднего роста и крепкого сложения, довольно симпатичное лицо с приветливым взглядом больших серых глаз. Взгляд этот никогда ничего не выдавал, но как губка впитывал каждую мелочь.

Он хорошо знал психологию рядовых бойцов и довольно снисходительно относился к их чисто человеческим слабостям. Мне очень повезло, что с первых шагов в разведке я столкнулась с опытными и крупными разведчиками: Мамсуровым, Салныным, Берзиным, Сыроежкиным и другими. Таким образом, вернувшись в Москву, я имела уже хорошую профессиональную подготовку.

Правда, опыт этот относился, в основном, к сфере военной тактической разведки и диверсионной работы. Агентурную деятельность я представляла себе лишь в общих чертах. И все же работа в разведке, несмотря на все ее трудности, увлекала меня, а контрразведка почти не интересовала. Это не прошло незамеченным.

Однажды Отдел кадров прислал мне помощником уже не молодого, но энергичного и вертлявого человека. Я сразу догадалась, что он «оттуда», поскольку в нашем учреждении его никто раньше не видел. Отвела ему правую тумбу своего стола и сказала, что ключ он может оставить у себя.

Недели через две-три в мой кабинет вошли два работника НКВД в форме и вежливо спросили, где мой помощник держит свои бумаги. Другие ящики стола они смотреть не стали. Думаю, они очень хорошо знали, где что лежит, а помощник, естественно, после этого исчез.

Как-то я нашла у себя подслушивающее устройство, что, впрочем, меня вполне устраивало. Моему шоферу с информацией не повезло. Дело в том, что у нас с Артуром была своя

машина, которую мы купили в Париже, и на служебной машине я никуда не ездила.

Первое время Василий каждый день точно к началу рабочего дня подавал машину к конторе, и весь день сидел в приемной. Потом все чаще и чаще стал отлучаться, сначала с моего разрешения, потом и без него. В конце концов, он и мои негласные наблюдатели привыкли считать машину своей, и когда она однажды понадобилась, ее никто не мог найти.

Жила я уже не в общежитии, а в одном из номеров «Метрополя». Это может показаться роскошным, но на самом деле было очень неудобно: ни постирать, ни посушить, ни приготовить. Артур носил стирать белье к своей матери, а питаться приходилось в ресторане. За это нужно было платить, правда, меньше, чем другим.

В ресторане я заприметила несколько столиков, за которыми всегда сидели оперативники из НКВД и уголовного розыска. Вечером появлялись и особо допущенные проститутки.

Из НКВД меня просили не обращать на них внимания. Я и не обращала. Эту сферу жизни «Метрополя» курировал Земляков, которого я знала еще по институту, где он выполнял те же функции.

Тогда произошел забавный случай. В коридорах института повесили очень плохие кривые зеркала. Студенты для стенгазеты сфотографировали друг друга через эти зеркала, и получили страшные изуродованные физиономии.

В этом же номере стенгазеты помещался материал о жертвах «белого террора», и я по ошибке наклеила в этот материал фотографии наших кривых студентов.

Земляков вызвал меня в свой «кабинет» — фанерную клетушку под лестницей — и строго предупредил, что не допустит дискредитации старых большевиков: редактором стенгазеты была почтенная старая большевичка. Вскоре ее арестовали, и Земляков чувствовал себя очень неуютно, но я никогда не напоминала ему об этой истории.

Много лет спустя я встретила как-то бывшего председателя правления «Интуриста» Синицына. Он был на пенсии и работал заведующим одного из павильонов на ВДНХ.

Синицын рассказал мне много интересного и об «Интуристе», и о моих бывших сослуживцах, однако я не буду это пересказывать, так как предпочитаю писать лишь о том, что сама видела.

Он признался, что в моем кабинете стояла подслушивающая аппаратура. Рассказал и о таком инциденте: один из туристов отковырял из картинной рамы микрофон и устроил скандал. Синицына вызвал Хрущев, кричал, угрожал, стучал кулаками и топал ногами так, как будто не знал, кто именно установил микрофон.

Такую бурную реакцию Синицын объяснял тем, что Хрущев демонстрировал свою лояльность перед собственными подслушивающими устройствами.

Летом тридцать восьмого года меня вызвали в какую-то неизвестную комиссию. В кабинете сидело человек шесть-семь, все в штатском. Попросили рассказать о себе, а потом предложили ехать в Южную Америку, не поясняя, с какими функциями.

Я ответила, что мне не хотелось бы ехать, потому что я недавно вернулась из Испании и вышла замуж. Кто-то спросил негромко:

— Кто ее рекомендовал?

— ЦК.

Тогда я добавила, что к мнению ЦК отношусь с большим уважением, и если есть большая необходимость, поеду, хотя особого желания у меня все-таки нет.

Вскоре меня вызвал начальник Главного разведывательного управления Гендин и после довольно продолжительного собеседования предложил ехать во Францию резидентом. Я снова довольно мягко ответила, что не хотелось бы. Он меня совестил, уговаривал.

— У вас же два ордена! Неужели вы боитесь?

— Нет, конечно...

— Тогда почему вы отказываетесь?

Я подумала и ответила:

— Потому что после возвращения вы же сами не будете мне верить.

Гендин растерялся и, что меня поразило, покраснел. Никогда не думала, что начальник разведки способен краснеть.

В заключение он дал мне на раздумья довольно большой срок — около месяца.

— Только ни с кем не советуйтесь, — предупредил Гендин и напомнил отметить у секретаря пропуск на выход.

Отметив пропуск, я все-таки заскочила в кабинет начальника Оперативного отдела Хаджи Мамсурова, моего бывшего начальника в Испании. Времени было очень мало, считанные минуты. Хаджи взял меня за рукав и потащил к секретарю парткома Разведуправления Туманяну: в Испании он был старшим советником Генштаба.

— Гендин посылает ее во Францию.

Туманян вышел из-за стола, подошел к нам и сказал:

— Я ничего не могу сказать вам, но нужно отказаться.

И я ушла. Весь месяц я терзалась тем, что отказываюсь от важного задания и, в конце концов, решила согласиться. Позвонила адъютанту Гендина и попросилась на прием.

Вскоре он перезвонил мне и назначил время — четырнадцать ноль-ноль. Оставалось более часа, и я села разложить паcьянс. Не сошелся. Я снова разложила. Снова не сошелся.

Время поджимало, и я побежала в Разведуправление. В окошко Бюро пропусков была очередь, и я встала в ее конец, хотя было уже два часа. Через минуту вошел адъютант Гендина и, найдя меня взглядом, потащил к окошку.

— Срочно ей пропуск!

Когда мы пришли в приемную, оказалось, что Гендин уже занят. У него был знаменитый летчик Громов в связи с приездом американского летчика, совершившего какой-то необыкновенный перелет.

Я прождала минут сорок. Потом вышел Гендин и сказал, что примет меня в следующий раз, потому что сейчас у него уже нет времени. Через две недели его арестовали.

В тысяча девятьсот тридцать девятом году началась Вторая мировая война, и туризм замер. Мой Отдел обслуживания — так стала называться контора — стал никому не нужен, и меня

перевели на работу в Наркомат внешней торговли. Когда секретарша принесла мне приказ, я так обрадовалась, что засмеялась и с удовольствием положила ноги на шикарный письменный стол. Наконец-то я смогу работать «от и до», проводить время с мужем, с которым мы последнее время даже обедали врозь.

Артур тоже повеселел. По возвращении из Испании он восемь месяцев не получал никакого назначения, пока наш друг и начальник по Испании Хаджи Мамсуров не «выкрал» его из НКВД в Разведуправление.

Дальше он направил Артура на учебу в академию Фрунзе. В НКВД только через год хватились, что пропал один оперуполномоченный, но потом решили оставить его в покое, так как числился он за белорусским аппаратом. Но поволноваться, конечно, пришлось немало — восемь месяцев без назначения, когда арестовывают одного за другим вернувшихся из Испании командиров, это верный признак скорого ареста.

### ***Ведомство Микояна***

В то время, когда в Наркомате внешней торговли началась и быстро закончилась моя чиновничья карьера — тридцать девятый год — это было могучее и громоздкое учреждение. Его власть распространялась на Таможенное управление, иностранный туризм, на все экспортные и импортные организации.

Я прочувствовала это на себе еще раньше, когда беспошлинно привезла из-за границы пишущую машинку без права продажи и никакими усилиями не могла обменять ее на русскую. Внешторгу были подчинены и все зарубежные торговые представительства. Возглавлял его Анастас Микоян. Я работала в его секретариате в Контрольно-инспекторской группе при Наркоме.

Конечно, для роли инспектора я была, мягко говоря, не готова. Академии внешней торговли тогда еще не существовало, а я, не будучи ни экономистом, ни юристом, вряд ли могла принести существенную пользу.

Вероятно, об этом догадывались и другие, поэтому в первые же дни наметили меня «в жертву» на должность секре-

таря комсомольской организации с отрывом от работы. Разумеется, для меня не было проблемой и речь произнести, и отчет составить, провести беседу или написать рекомендацию, но никакой тяги к такого рода деятельности я не чувствовала и отказалась.

В парткоме посоветовались и решили оставить меня в покое, а на это место хотела попасть моя подруга Рахиль Дрознес. Однако на обсуждении ее кандидатуры выступил какой-то Иванов и значительно произнес:

— У нее за границей живет бабушка.

Спросили, правда ли? Рахиль ответила, что правда, но никакой связи она с бабушкой не поддерживает, а самой бабушке, если она еще жива, лет девяносто.

— Да, — возразил Иванов, — у нас нет данных о том, она поддерживает связь. Однако у нас нет данных и о том, что такая связь не поддерживается.

Бедная Рахиль сидела вся красная, огорченная до слез, и сказала, что отказывается от выдвижения. Уже не помню, кого тогда выбрали, а я осталась на должности инспектора, и мне стали давать на рассмотрение несложные дела, главным образом, персональные жалобы, поданные на имя Наркома.

Отношение к жалобам было не таким, как теперь. Нечего было и думать отложить жалобу на длительный срок или оставить без ответа. Жалобы поступали в нашу группу из секретариата без комментариев и замечаний, указывался лишь срок рассмотрения.

Микоян требовал, чтобы инспектор давал материал по жалобе на одной странице: треть листа — суть жалобы, треть листа — что установлено проверкой, треть листа — предложения инспектора.

Начальник группы, Хлебников, сам относил Микояну эти листки и получал на них его резолюции. Резолюция почти всегда совпадала с мнением инспектора. Иногда он требовал дополнительную информацию, но никогда не поручал повторное рассмотрение другому лицу или органу. Таким образом, никто из инспекторов лично с Микояном не разговаривал, мы лишь иногда видели его издали.

Однажды я видела его на партсобрании. Он не делал доклада, сидел в президиуме с мрачным и напряженным, как маска лицом, почти не поднимал глаз. Иногда отпускал реплики, причем довольно резкие. По бокам от него стояли два молодца, державшиеся очень прямо, правая рука в кармане, глаза все время бегают по залу. Задняя стена сцены была задрапирована, но занавес немного не доставал до пола, и из-под него виднелось несколько пар хорошо начищенных сапог. Не знаю чем, но чем-то он мне понравился, хотя и выглядел, как очень расстроенный и очень уставший человек.

Как-то ко мне подошел один из наших инспекторов и задумчиво сказал:

— Где-то я вашу фамилию слышал...

А немного позже вспомнил. Однажды нашу южную границу перелетел неопознанный самолет и приземлился недалеко от погранзаставы. Пилот назвался советским разведчиком Львом Василевским и в числе лиц, кто мог бы это подтвердить, назвал меня.

Я действительно хорошо знала его по Испании. Несколько раз мне приходилось даже переводить его беседы с агентами-испанцами. Хоть я и знала его, как большого авантюриста, удивляюсь, как за год он умудрился побывать в южном зарубежье, выкрасть самолет и удрать обратно.

Вскоре наши войска вошли в Польшу. Я поняла, что начинается новая война, и подала Наркому обороны Ворошилову рапорт о зачислении в армию. Месяца через два мне объявили, что по его приказу я зачислена в Военную академию имени Фрунзе.

### *Академия Фрунзе*

Поступление в академию оказалось делом не простым. Ее начальником был тогда Хозин, ставши позже известным по обороне Ленинграда.

Кажется, это был не очень удачливый генерал, во всяком случае, не помню, чтобы он еще когда-нибудь упоминался до конца войны. По поводу приема женщин в академию он категорически заявлял: «У меня баб не было и не будет!»



Ворошилов настаивал на своем. Он отдал персональные приказы о зачислении в академию нескольких женщин, в том числе и меня.

Пока это все устраивалось, прошло еще два месяца, и к занятиям на Первом командном факультете меня допустили только в феврале сорокового года, но с условием, что в мае я буду сдавать экзамены наравне со всеми. Вероятно, Хозин рассчитывал, что я не сумею подготовиться за весь первый курс и провалю экзамен, но тут он ошибся. Так как один институт я уже закончила, то готовиться по общеобразовательным предметам мне не нужно было, оставались лишь чисто военные дисциплины: тактика, топография и тому прочее. Военную историю сдать тоже было не трудно, так как история «гражданская», которую я знала очень хорошо, это сплошь войны.

Участники испанской войны были в одной особой группе, начальником которой был Карел Сверчевский, впоследствии Министр обороны Польши. В Испании я его знала как командира Тридцать пятой дивизии Пятого коммунистического корпуса. А Пятым корпусом командовал тоже слушатель нашей группы, Хуан Модесто. У нас же учились и Энрико Листер и Валентин Гальего. Тактику преподавал Родион Яковлевич Малиновский, ставший потом Министром обороны СССР.

На лето мы выехали в лагерь, а по возвращении осенью нас всех зачислили в штат Первого командного факультета, и дальнейшую учебу мы продолжали уже на общих основаниях.

Нагрузка заметно увеличилась. К шести утра надо было являться на строевые занятия. С восьми — слушание лекций. После обеда, часов с трех, факультативные занятия и физическая подготовка. Здесь я выбрала фехтование, в основном потому, что занятия эти продолжались всего пятнадцать минут.

На втором курсе я неожиданно встретила полковника Михаила Ильича Белкина. Он объявился во время гражданской войны с большим эффектом: привел в расположение красных и сдал дикую банду, которой сам же и верховодил. В штабе спросили:

— Что же со всеми вами делать?

— Всех расстрелять, а меня оставить, — ответил Белкин.

Так, по крайней мере, он сам мне рассказывал. Он описал жуткую картину зверств и расправ, чинимых этой бандой, пока он не «взял там верхушку».

Потом Белкин работал в Китае на посту советского консула, несмотря на то, что до этого работал там на нелегальном положении.

Он рассказывал такой случай. Ему дали задание взорвать пароход с оружием. За приличную сумму Белкин и два его помощника устроились на этот пароход «зайцами» и получили отдельную каюту.

В своем багаже они собирались пронести взрывчатку, но ее во время не доставили, и операции грозил срыв. Тогда они украли в порту у сварщиков баллон с кислородом, приладили к нему взрыватели, и получилась солидная машина.

Установить ее решили в своей каюте, поскольку трюм был рядом. Путь от дверей каюты до трапа спокойным шагом составлял сорок секунд. Плюс двадцать секунд, чтобы сойти с трапа, плюс две минуты, чтобы скрыться, плюс минута на непредвиденные задержки. Итого — четыре минуты.

Все шло отлично. Запустили взрыватели и через проходы, лестницы и двери пошли к трапу. Через сорок секунд обнаружилось, что в положенном месте нет не только трапа, но и дверей. Гладкий цельнометаллический борт. По ошибке пошли не в ту сторону!

— Как мы бежали! — рассказывал Белкин, — надо же вокруг всего парохода обежать! Так я не бегал не только никогда в жизни, так, по-моему, вообще бегать невозможно!

В конце двадцатых годов они вместе с Артуром Спрогисом учились в Высшей пограничной школе ОГПУ. Я познакомилась с Михаилом уже после Испании, как жена Артура, и мы дружили семьями.

Его жена, Ольга Ивановна, милая и умная женщина, в прошлом тоже была разведчицей. У них было два мальчика: Игорь и Илья. Когда Белкина и его жену арестовало КГБ, детей воспитывали чужие люди, потому что родственников у них не было.

Встречались мы довольно часто, и могу сказать, что Белкин был довольно авантюристичен, любил риск и острые моменты, не упускал при этом и возможность показаться. Он был хорошим психологом, правда, с некоторой долей цинизма.

К сожалению, пришлось мне побывать и на его похоронах в восемьдесят первом году. Ольга Ивановна позвонила мне сразу, когда Михаила нашли мертвым около подъезда их дома. Рядом с ним валялась авоська с хлебом и бутылкой кефира.

В последние годы им жилось трудно. После тюрьмы он лишился всего: воинского звания, партбилета, орденов: три ордена Ленина, шесть орденов Красного Знамени и других; пенсии.

Потом вдруг вернули партбилет и десятка два медалей, еще через некоторое время вернули ордена и пенсию сто сорок рублей в месяц.

Он продолжал работать рабочим на заводе Лихачева, куда с большим трудом устроился после освобождения из лагеря. Когда в отделе кадров увидели, что его последняя работа — генерал КГБ, наотрез отказали в работе. Ему пришлось звонить в КГБ и просить, чтоб хоть рабочим дали возможность работать.

Поскольку генеральское звание ему возвращено не было, сомневались, во что одевать покойного. Я настояла на том, чтобы его одели в полную генеральскую форму со всеми знаками различия. Когда гроб внесли в зал крематория, оказалось, что до самого подбородка он закрыт цветами, чтобы не был виден мундир и погоны.

Михаила, а позже и его жену, похоронили на кладбище Донского монастыря. Почему-то там хоронили многих крупных разведчиков: Эйтингона с женой, Фишера (Абеля), там же кремировали Артура Спрогиса...

А в то время, о котором я пишу, все они были живы и воевали, и победили. Этого у них не отнять никакому режиму и никакому диктатору.

Белкин попал в академию в середине учебного года и обрадовался, когда встретил меня. Помню, как мы вместе сдавали экзамен по военной географии. Обычно в кабинет вызывали двоих, и мы пошли вместе. Взяли билеты и помрачнели. У меня был вопрос по оценке возможного наступления в

Маньчжурии: топография, пути сообщения, ресурсы, население и тому прочее.

Это был район, который я совершенно не знала и не интересовалась им. Мы больше интересовались западными границами и изучали прилежащие страны как вероятные театры военных действий. А тут — Китай!

Я тоскливо посмотрела на слепую карту: ни рек, ни дорог, ни высот... и побрела на место готовиться. К чему? Михаил сидел и тоже явно «пускал пузыри».

В этот момент дверь открылась, и преподавателя вызвали к телефону. В кабинете осталась только ассистентка, милая застенчивая женщина, в обязанности которой входило, в основном, наблюдение за тем, чтобы не пользовались шпаргалками. Михаил встал, как бы размялся, лениво подошел ко мне и небрежно спросил:

— Тебе что попало?

— Маньчжурия, — ответила я, многозначительно глянув на него.

— А тебе?

— Болгария, как возможный театр военных действий...

Преподаватель все не возвращался. Мы прогулялись по кабинету, остановились около карт и, как бы от нечего делать, стали обмениваться фразами — я о Болгарии, он о Маньчжурии. Ассистентка смущенно смотрела на нас. Она даже немного покраснела и залепетала что-то о том, что мы теряем время для подготовки.

Но мы времени не теряли, и когда преподаватель вернулся, бойко ответили на вопросы и получили в зачетки по четверке. Сильно подозреваю, что вызов к телефону подстроил сам Михаил через своих друзей.

Белкин был на нашем курсе секретарем партбюро, имел два ордена, но общее образование у него было слабовато, и он часто давал мне подправлять свои письменные работы, в том числе и курсовую. Я с удовольствием помогала ему, как, впрочем, и Артуру, который учился курсом старше на Втором разведывательном факультете.

Особенно трудно Артуру приходилось с русским языком. Однажды в столовой я познакомила Артура с Полем Арма-

ном, который в Испании командовал танковым подразделением. Поль отреагировал очень неожиданно:

— Так вот за кого мне морду били! — смеясь и пожимая руку, проговорил он.

Оказалось, что когда годом раньше Поля арестовали, то требовали признания, как они вместе с Артуром готовили заговор. Следователь не сомневался, что они были знакомы: оба латыши, оба были в Испании в одно и то же время, оба учатся в одной академии. Так он и подгонял материалы дела, и вдруг — не встречались, не слышали, не знакомы. Невероятно, но факт. Поля выпустили, а Спрогиса не стали трогать.

Был у меня еще один «подопечный» — полковник Степан Макаров, приятель Белкина по работе в Китае, где командовал кавалерийским полком. Военного опыта у него было больше, чем у Михаила, хотя бывали, конечно, и неудачи.

Однажды он переправлял вплавь через быструю реку кавалерийский отряд и не предупредил бойцов, что нужно находиться от коня ниже по течению. Бойцы, державшиеся выше по течению, были снесены под копыта коней. Семь человек погибло. За это Макарову дали десять лет, но каким-то образом вместо тюрьмы он очутился у нас в академии.

Генералы-преподаватели Чанышев и Рокоссовский, ставший потом видным полководцем, тоже попали в академию после отсидки. Артур и Поль висели на волоске. Да и со мной, видимо, не знали, что делать: по общей схеме пора как будто брать, но я как-то не подворачивалась.

Оказались в академии и крупные руководители-испанцы: Модесто, Листер, Родригес, Гальего и другие — люди мало предсказуемые. Похоже, что таким образом академия была для людей, вроде нас, чем-то типа аквариума, где мы были и не при работе, и всегда под рукой, и под постоянным контролем.

До академии Белкин участвовал больше в ликвидации различных банд и занимался диверсионными и террористическими операциями. Правда, не всегда удачно.

Однажды он должен был взорвать в тылу противника железнодорожный мост. Установил мину, настроил взрыватель на определенное время и проходивший мимо паровоз, как за-

ранее было договорено, сбавил ход и забрал группу. А мина не сработала. Они не поставили параллельный взрыватель, а это всегда надо делать.

Потом он имел кучу неприятностей. Все они рассказывали много интересного и важного, но запоминаются почему-то пустяковые и комичные случаи. Например, когда они с Артуром учились в Пограничной школе, у Спрогиса была служебная собака, которая совершенно его не слушалась и делала все, что хотела, однако записочки девушкам носила исправно.

Итак, летом сорок первого года после сдачи экзаменов и перевода на следующий курс академия разъехалась по летним лагерям.

Мы ехали в Брест...

### ***Начало войны***

На пути в лагерь остановились пообедать в Бресте. В офицерской столовой мы застали много местных старших офицеров. Все они были возбуждены и обсуждали последние сведения о концентрации немецких войск на нашей границе. Называли и численность, и вооружение по данным разведки и показаниям перебежчиков.

Пообедали мы быстро и пошли посмотреть крепость, старые и новые строящиеся укрепления. Граница проходила по реке Буг, через которую был перекинут самый обыкновенный мост, но при взгляде на него в сердце почему-то возникала тревога.

...Этот вечер двадцать первого июня сорок первого года был тихим и теплым. Никого не удивляло, что из лагеря в город Гродно, километрах в трех от нас, никого не выпускали. На рассвете следующего воскресного дня должны были начаться учения сил противовоздушной обороны округа. Мы должны были включиться в них в восемь часов утра в качестве посредников.

Семь ноль-ноль. Подъем, зарядка, завтрак. Получив пистолеты, патроны и начистив сапоги, легли спать пораньше. Оружие положили под подушки, обмундирование и снаряжение сложили на стулья около коек.

Только начало светать, нас разбудил раскат грома. Гроза? Ах, да — сегодня же учения. Можно еще поспать. Но глаза не закрываются. Странный какой-то гром. Так в Испании рвались бомбы... Наскоро оделась. Вот еще... еще...

Я вышла в коридор. Из соседних комнат вышло несколько ребят в трусах и майках. Лица очень серьезные. Видно, не мне одной были знакомы настоящие разрывы. Побежали одеваться — сейчас прозвучит сигнал боевой тревоги. А может быть, так и должны проходить учения ПВО? Ведь раньше я их не видела. Раздалось еще несколько разрывов. Это уже близко. Кажется, в районе вокзала. Нет. Это не учения...

— Ребята, подъем! Быстро!

Кто это крикнул? Не все ли равно. Все повскакивали. Натягивая гимнастерки выбегали из спален. Никто ничего не знал, но почуяли: война! Через минуту все двести человек в полной готовности высыпали на плац и разобрались по группам. ПротивогАЗы, как всегда, оставили. Их брали только по особо торжественным случаям или по особому распоряжению — толку от них никакого, а мешали они здорово.

Тревогу по лагерю так и не объявили. Оказалось, что никого из начальства на территории нет. Наверно, все в городе, да и вообще — ночь с субботы на воскресенье... дело понятное.

Небольшой, мощный булыжником плац был наполовину заставлен грузовиками с брезентовыми тентами. Это наш академический транспорт. Все водители стояли у своих машин, спокойно оглядываясь по сторонам: ждали команды. Старшины учебных групп тоже не знали, что делать дальше. Потолкались с полчаса, уселись на булыжниках — кто знает, сколько еще ждать.

Над головами послышался звук мотора, показался один истребитель. Только один. Так не должно быть... К группам стали подходить преподаватели. Они тоже ничего не знали. Во всяком случае, не больше нашего. Подошел преподаватель и к нам. Наверно, из войск ПВО — раньше мы его не видели.

— Какая группа?

— Восьмая.

— Значит, мне работать с вами, — сказал он спокойно, застегивая верхнюю пуговицу гимнастерки.

Интересно, где он начал застегивать нижнюю? Кажется, он вышел из буфета.

— Начнем! — Скомандовал он звучным голосом. — Товарищ капитан, доложите! — Фамилий наших он еще не знал.

— Товарищ полковник, война началась.

— Как вас учили?! На втором курсе устава не знаете! Докладывайте вы! — приказал он майору, старшему по званию в нашей группе.

— Война! Не понятно?... твою мать... — зло отрезал майор.

— Да ну... — Полковник выглядел совсем растерянным. Он круто повернулся на каблуках и быстро зашагал к командному корпусу.

Восемь часов утра. Мы по-прежнему сидим на булыжниках и поглядываем в небо. Около девяти еще один налет, но бомбы ложатся далеко от плаца. Сколько еще сидеть? Чего ждать? Кто-то начал играть в домино. Водители по-прежнему стояли у грузовиков, нервно переминаясь с ноги на ногу: за их спинами был артиллерийский склад, а с другой стороны — кладбище. Если на плац сбросят хоть одну бомбу, наше место там.

Часовой на проходной никого не выпускает. Он тоже ждет приказа. Тревогу так и не объявили, ни боевую, ни воздушную. Впрочем, сейчас, через пять часов, это было бы нелепо.

Начальник курса генерал Чанышев уже который час пытался связаться с Генштабом, но Москве было не до нас. Никаких указаний о том, куда девать слушателей он не имел, а находящийся при нем комендант лагеря тем более.

Все так же сидим и ждем. Война разворачивалась, а тот истребитель оказался единственным напоминанием о существовании ПВО. Потом выяснилось, что большинство самолетов округа было уничтожено до того, как они успели взлететь. Проезжая часом позже по шоссе, мы видели на аэродромах их горящие останки. Немцы опередили учения на десять минут. Располагали информацией? Не исключено.

Накануне наступления в наш тыл было заброшено несколько разведгрупп, переодетых в нашу форму. По пути в нашу колонну попросились несколько военнослужащих. Они



объяснили, что посланы на завод за новыми машинами. Комиссар остановил колонну и забрал попутчиков для проверки документов. Что было дальше, я не знаю, но последовал категорический приказ: никого не брать.

В Белостоке стояла Двадцать шестая танковая дивизия, где служил муж моей сестры, Аллы. Она с восьмилетним ребенком была с ним. Мальчика успели засунуть в грузовик, эвакуировавший детей и жен комсостава. Он приехал в Москву в одних трусиках, куда был зашит мой московский адрес. Алла не знала, что меня в Москве уже не было...

Дивизия с первых минут войны вступила в бой, вышла из него довольно потрепанной и отступала до Ельни, где ее уже добились. Больше я сестру никогда не видела. Там немцы пленных не брали.

Когда мы выезжали из Гродно, уже была слышна артиллерийская стрельба. У дороги под кронами деревьев неподвижно стояла группа бойцов с лицами, повернутыми на запад... кони топтались на месте, нервно обмахиваясь хвостами... через поле пробежала группа деревенских парней... босые, рубахи не заправлены, волосы по ветру...

Первый привал мы сделали на опушке леса. Там был колодец с бадьей, и около него столпились женщины с детьми. Многие одеты по-выходному: нарядные платья, туфли на каблуках. Они обступили меня плотным кольцом и рассказали, что их вывезли подальше от границы на машинах и оставили «переждать». Теперь они хотели услышать от офицеров, едущих оттуда, можно ли переждать войну здесь или лучше уходить подальше.

— Уходите подальше, — ответила я тихо и, кажется, покраснела.

Конечно, человеку в военной форме тяжело говорить такое, но лучше сказать. Женщины молча отошли. Лица у них были не столько испуганные, сколько озадаченные. Я злилась, что приходится уезжать в тыл, но парадокс был в том, что направление на фронт я могла получить только в Москве. На фронте я знала, что и как делать, а что делать в тылу, понятия не имела, да и знать не хотела.

Из леса вышло несколько пограничников, все раненые. Наверно, не было машин вывезти их. Перебинтованы кое-как, лица серые, уставшие. Они коротко рассказали о нападении и первом бое.

— Как там наши? Наступают? — спросил один из них.

Мы не знали.

— Почему не в санбате?

— Не хочется далеко уходить. Мы легкораненые, тут нам найдут, чем заняться.

Поговорили немного о том, чего никто из нас не знал — о положении на границе.

А границы уже не было.

Был фронт.

В полдень нас обстреляли штурмовики, и мы без завтрака поехали дальше. На втором привале мы едва успели позавтракать, как начался новый налет, и мы довольно неохотно пошли прятаться в кусты подлеска.

«Опять обстреляли...» — услышала я невеселый голос соседа, устраивавшего поспать. Ночью нам предстояло двигаться дальше на восток, а в грузовике не поспишь. Потерь у нас не было.

Перед выездом нас собрал комиссар и сообщил, что все атаки на границе отбиты, и наши войска наступают в варшавском направлении. Ему, конечно, никто не поверил, но промолчали.

Правда, комиссар — не командир, и можно было поговорить откровенно, но это был не тот комиссар, с которым хотелось разговаривать.

С нами в колонне была армейская рация, и мы перехватили «новость» — объявлена война. Долго думали: странно как-то все происходит...

На закате снова тронулись в путь. Навстречу нам, уступая дорогу, шла кавалерийская часть. Все кони были белые. Явный расчет на зимние боевые действия. Раз их бросают в бой, плохо дело...

— Откуда?!

— Орельские!

Земляки, значит. Вся наша семья из Орла.

Сколько времени добирались до Москвы, и что было дальше в пути, не помню. Где-то спали на траве, в каком-то ручье мыла засыпанную песком голову, на какой-то день заболела ангиной. Один из шоферов дал мне байковое одеяло — они оказались запасливее нас, но ночью одеяло с меня сняла соратница Мария Фортус, которую мы потом поймали на том, что она писала на нас доносы.

Через много лет председатель Советского комитета ветеранов войны генерал Батов публично заявил об этом и вынес вопрос на бюро Комитета, но Фортус на заседание не явилась, а рассматривать дело в ее отсутствие не полагалось.

Заместитель начальника управления КГБ Эйтингон тоже рассказывал мне, что Фортус приходила к нему с «сигналом» на командира крупного партизанского соединения Медведева и его разведчика Николая Кузнецова. Эйтингон «открестился», сославшись на то, что эти люди находятся в ведении начальника управления Судоплатова.

Фортус знала, что я раньше работала во Втором главном управлении КГБ, и мне могло быть известно о ее «сигналах», поэтому она попробовала перестраховаться. Подходит как-то в Комитете ветеранов ко мне и говорит о Судоплатове:

— Ты знаешь, какой Павел негодяй? Он хотел заставить меня написать заявления на Медведева и Кузнецова!

— Знаю. Ты хотела информировать, так сказать, устно, а он попросил представить сообщение в письменном виде.

Видимо, не все доносы принимались во внимание, но, конечно, многие погибли из-за обычной клеветы. Стукачей мы вычисляли очень просто: они без проблем получали увольнения в город и имели разные поблажки, а после окончания учебы получали хорошие назначения, явно не соответствующие их способностям и званиям — уж мы-то знали, кто из нас чего стоит. После смерти Фортус никто из нас за гробом не пошел.

Пока мы добирались до Москвы, я успела выздороветь. Академия эвакуировалась в Ташкент, и я успела устроить в наш интернат найденного в городе племянника, а сама подала рапорт об отправке на фронт и осталась в Москве ждать назначения.

Человек тридцать из наших генерал Чанышев по приказу оставил на западе в Десятой армии Голубева. Получили назначение Малиновский и еще несколько старших офицеров с третьего курса. Артур, оказалось, был уже на фронте.

Через месяц на нашем курсе осталось всего человек двадцать дальневосточников, которых придерживали на случай открытия восточного фронта.

Рапорт я подала начальнику Главного разведывательного управления, поэтому ответ пришлось ждать долго, и я снова переживала события последнего времени.

Вспоминались посещения штабов войск приграничной зоны, бойкие доклады командиров. Особенно запомнился бравый доклад начальника артиллерии по фамилии Клич — я помнила его еще по Испании. По его словам, имеющиеся в нашем распоряжении стволы могли покрыть снарядами территорию противника чуть ли не на двадцать километров в глубину на всем протяжении возможного фронта.

Мы недоверчиво переглядывались, смотрели в потолок, но молчали — сомнения рассматривались как «пораженчество», а то и как агитация в пользу противника.

В штабе бронетанковых войск докладчик, тоже знакомый по Испании, был более сдержан и виновато улыбался, показывая глазами наверх. Не знаю, что стало с танкистом, а Клича в первые дни войны расстреляли перед строем.

Конечно, наказание жестокое, но и сокрытие правды обходится миллионами жизней — война! Иван Копец, командовавший истребительной авиацией округа, застрелился сам. Его заместителя Сергея Черных расстреляли. Фотографию, которую он подарил мне в тридцать шестом году в Испании, я передала в краеведческий музей на его родине в Нижнем Тагиле.

Из высшего командования авиации в первые недели войны расстреляли Смушкевича, бывшего в Мадриде советником Министерства республиканской авиации, и комэска Рычагова.

Были расстреляны и Главный военный советник в Испании Штерн, и его предшественник Берзин, и генеральный консул Антонов-Овсеенко, и посол СССР Розенберг, и ко-

мандующий бронетанковыми частями Павлов, и многие другие, вернувшиеся из Испании живыми, веселыми, уверенными в себе, отмеченными наградами.

Я видела их там, знала — кого лучше, кого хуже, с некоторыми дружила и могу уверенно сказать, что ни один из них даже мысли не допускал о подобном конце. Конечно, одним этим нельзя объяснить наши неудачи. Тут дело не в беспечности. Баграмян, например, еще до начала войны отправил к западной границе несколько дивизий, но, тем не менее, Киев был сдан практически без боя. Так рассказывали ребята с нашего курса, бывшие в лагерях подо Львовом.

На пути к Москве мне казалось, что война продлится года два. Некоторые считали, что года три. Возможно, были и такие, кто считал — года четыре, но они благоразумно помалкивали.

Система стукачества и доносов была уже широко распространена и стала настоящим бедствием. В обществе царила подозрительность и отчужденность. Лагеря и казни стали чуть ли не обыденным делом. Чаще всего доносы писали люди, за которыми числились какие-нибудь грехи, карьеристы или завистники.

Фанатиков было мало. Я лично видела три написанных на меня заявления: одно в ЦК КПСС и два в КГБ. В одном из них, анонимном, автор советовал поинтересоваться, чем занимается мой брат. А братьев у меня вообще никогда не было.

Поступали доносы и на Артура Спрогиса, Хаджи Мамсурова, Гая Туманяна. Всех их тоже вызывали для объяснений, но выяснялось, что это лишь пустые сплетни, а за одно выяснился и автор «сигналов» — бывший с нами в Испании Илья Старинов.

Никто из нас не пострадал, но чаще всего это кончалось трагически, потому что не отреагировать — значило покрывать «врагов народа». Такое положение вещей было выгодно высшему руководству. В случае чьей-нибудь непокорности стоило только намекнуть, что «имеется материал», и человек становился тише воды и ниже травы.

Наблюдая эти нравы, я решила никогда не работать в аппарате, не стремилась к повышениям в звании или должности

и никогда ничего не скрывала из биографии и обстоятельств личной жизни.

Таким образом, за пятнадцать лет работы в секретных службах я пережила четырех министров и несметное количество непосредственных начальников. Никому из них не удавалось втянуть меня во внутренние интриги.

### ***Московское подполье***

Немцы взяли Минск и быстро продвигались к Москве. Занятия в академии продолжались, несмотря на то, что основной состав эвакуировался. Училась я неплохо, без троек, а по военным дисциплинам на отлично. На третий курс нас перевели без экзаменов, но уже было понятно, что учеба наша закончилась.

Ответа на мой рапорт все не было, и я через знакомых искала другую возможность попасть на фронт. Но все виновато развели руками: женщина...

И вдруг встречаю на улице Белкина. Он приехал в Москву только на пару дней и уже имел назначение на должность начальника Управления контрразведки Северо-Кавказского фронта. Я очень обрадовалась, а он, заметив, что я все-таки чем-то расстроена, спросил:

— А ты что делаешь?

— Пока в академии... Не берут на фронт, на рапорт нет ответа...

— На оперативную работу хочешь?

— Если на фронте, хочу.

— Пошли. Я тебя быстро пристрою, — сказал Михаил и повел меня к своей серой «Эмке».

Я больше ни о чем не спрашивала и быстро села в машину. На Кузнецком мосту мы остановились у дверей приемной НКВД. Михаил вошел в приемную и скрылся в телефонной кабинке. Пропуск мне выдали сразу, и мы долго шли по бесконечному изгибающемуся коридору — не помню уже на каком этаже, да и номера кабинета не помню, потому что думала о другом: а вдруг не возьмут?

В приемной нам ждать не пришлось, никаких секретарей или адъютантов видно не было. Михаил открыл дверь и подтолкнул меня внутрь. Я оказалась перед незнакомым мне человеком, сидящим за большим письменным столом. На обстановку внимания не обратила, но заметила, что кроме нас троих, в кабинете никого не было.

Он был в штатском, уже не молодой, плотно скроенный мужчина с правильными чертами лица. Глаза умные, внимательные, но без того пронизывающего прицела, который обычен для контрразведчиков и совершенно не свойственен разведчикам.

Пауза длилась несколько секунд. Сидя на предложенном мне стуле, я разглядывала его без особого стеснения, но и с достаточным почтением. По-моему, за это время мы достаточно познакомились. Он задал мне пару вопросов, ответы на которые ему были явно не нужны. Спросил, есть ли вопросы у меня. Вопросов у меня не было. Этот человек вызывал полное доверие.

— Если вы готовы к серьезной работе, то что именно вам хотелось бы делать?

— Все, что сейчас необходимо. Вы лучше знаете, что надо делать, а я готова ко всему.

— Добро.

Он немного помолчал, вероятно, обдумывая, как лучше забрать меня из армии. НКВД не могло брать к себе офицеров без согласования с армейским командованием.

— Сделаем так: после первой же бомбежки в академию не являйтесь. Остальное мы уладим.

Хозяином кабинета был заместитель начальника разведывательно-диверсионного управления генерал Наум Исаакович Эйтингон.

*Наум Эйтингон родился в тысяча восемьсот девяносто девятом году в Могилеве. Законченного образования не получил.*

*После революции был председателем Военно-революционного комитета в Башкирии, начал работать в ВЧК, затем в НКВД. В двадцатые годы — нелегальная работа в Ки-*

*тае, а до прибытия в Испанию работал в советских дипломатических миссиях в Южной Америке и во Франции. Хотя в Испании мы были с ним в одно и то же время, я не была с ним знакома и никогда не встречалась, но несколько раз слышала о генерале Комове — так его там называли, — как об очень влиятельном человеке.*

Михаил попрощался, оставил мне свой домашний адрес и телефон и пошел по своим делам, а Эйтингон вызвал начальника одного из отделов. К моему удивлению, в кабинет вошел хорошо знакомый мне по Испании Лев Ильич Сташко. По работе мы с ним там не сталкивались, но часто виделись в Мадриде в отеле Гейлорда и обменивались новостями.

Увидев меня, он заулыбался и вопросительно посмотрел на Эйтингона. Тот коротко распорядился оформить меня на работу в НКВД и обеспечить всем необходимым.

Теперь Сташко вопросительно посмотрел на меня. Тут я немного растерялась: все, что мне необходимо, было на мне, включая оружие, а что мне могло понадобиться в дальнейшем, я не знала, так как не представляла, чем придется заниматься. Вот родителей надо было эвакуировать из Москвы. Отец парализован, и кто-то должен был нести его на руках.

Эйтингон приказал обеспечить мою семью транспортом и местами в эшелоне, а также выдать документ для получения помощи по прибытии на место. После этого он назначил время следующей встречи, и я ушла.

Очередная бомбежка не заставила себя долго ждать. После нее я хорошенько отоспалась, взяла из гардероба кое-какие вещи и ушла жить к подруге. Соседям сказала, что уезжаю на фронт, и вынесла в коридор для общего пользования свой телефон.

Все было сделано вовремя: на следующий день по ранее поданному рапорту пришел приказ откомандировать меня в распоряжение Главного разведывательного управления армии. Меня искали в академии и дома, даже расспрашивали мою мать, но она, конечно, ничего не знала и готовилась к отъезду.

Однажды, забежав зачем-то домой, я нарвалась на звонок полковника Васильева — он занимался моим розыском. Зна-



комы мы не были, и голоса моего он не знал, но что-то заподозрил и спросил, кто у телефона. Я ответила, что соседка.

Улаживала эту неразбериху Зоя Ивановна Рыбкина, сотрудник Особой группы при Наркоме. На меня она произвела очень хорошее впечатление. Высокого роста блондинка с безупречной фигурой, она была внимательной и мягкой в обращении, но с заметным чувством собственного достоинства. Сразу чувствовалось, что это опытный и умный работник.

Рыбкина была одного звания со мной — старший лейтенант, но ходила не в форме. В первый раз я увидела ее в длинном строгом платье с еле заметной вышивкой — одеваться она умела. Позже я узнала, что Рыбкина выполняла серьезные разведывательные задания за границей, а в отставку вышла в звании подполковника.

Потом она стала известной детской писательницей и публиковалась под фамилией после своего последнего мужа — Воскресенская.

Дело мое она уладила. И академия Разведуправление перестали меня разыскивать и даже сделали благородный жест — выдали моей матери мою последнюю стипендию.

Дело тут было вот в чем: из «Интуриста» в Наркомвнешторг меня перевели с сохранением прежнего оклада девятьсот рублей в месяц — несколько выше среднего заработка. При зачислении в Академию Фрунзе слушателям выплачивалась стипендия в размере прежнего должностного оклада, то есть я получала те же девятьсот рублей.

При переходе на нелегальное положение в московское подполье сотрудникам назпачалось денежное довольствие снова в размере последнего заработка. Так я и осталась на слушательской стипендии. Зачислена была в Особую группу при Наркоме НКВД.

Помощником Рыбкиной был оперуполномоченный Коваленко, которого после войны уволили за побег на Запад агента Хохлова, посланного в Англию: Коваленко его готовил. После случая с телефонным звонком я старалась пореже бывать дома и очень об этом пожалела.

В конце сентября в Москву всего на два дня приезжала моя сестра. Ее отпустили, из части узнать, что с сыном и поведаться с родителями. Однако никого она уже не нашла. Сын уехал с академическим интернатом, родители эвакуировались в Сибирь, а обо мне соседи сказали, что уехала на фронт. Сестра вернулась в часть, и через несколько дней ее убили под Ельней.

Конечно, если бы мы встретились, я оставила бы ее в своей подпольной группе, которую уже начала формировать, переселившись на конспиративную квартиру.

Началась подготовка к возможному захвату Москвы противником. Эйтингон разрешил мне брать всех, кого я сочту нужным, но пока оказались подходящими только два-три бойца. Желающих, правда, было много, но подходил мало кто. Постепенно набралось около двадцати пяти бойцов, но мне казалось это недостаточным, и как-то я посетовала на это Эйтингону. Он ответил, что если бы оставаться приходилось ему, он остался бы один.

Тогда я с ним не согласилась — с Испании осталась привычка к групповым действиям. Только потом я оценила его мудрость. Чем больше людей, тем труднее сохранять конспирацию.

С территории, занятой противником, уже начали поступать сведения о первых крупных провалах в подполье. Мы начинали учиться.

Артур, оказалось, тоже занимался подпольем, только от Разведуправления. Он был уполномоченным Генштаба по разведке и командиром разведчасти № 9903, о которой в последнее время много писали в печати.

Он переправил в тыл противника десятки групп. Многие из его бойцов стали известными: Заслонов, Волошина, Линков, Космодемьянская, Колесова и другие. Он также ведал разведшколой.

И вдруг, была уже зима, я встречаю его на московской улице! До этого мы понятия не имели о том, кто где находится и чем занимается. С обеих сторон посыпались вопросы, на которые ни та, ни другая сторона отвечать не имела права.

Но постепенно ситуация все же прояснилась, и Артур стал меня уговаривать перейти к нему в штаб, однако прояснилось и то, что работаем мы теперь в разных системах. Контакттировать не полагалось, но Эйтингон прекрасно знал Артура по Испании, да и наша совместная работа там показала полную совместимость и, наконец, Артур был моим мужем.

Для начала я выпросила у него автомат, а ему подарила новенький «Вальтер» — у меня их было пять — и коробку патронов. Потом он дал мне еще пятьсот электровзрывателей, которых у нас почему-то не было. Вообще наше начальство очень неохотно снабжало нас оружием.

Думаю потому, что многие подпольщики были людьми не военными и никогда не держали оружия в руках, причем большинство из них были женщины. Но и вооружаться самостоятельно Эйтингон мне не запрещал. Постепенно мы оборудовали склады и оружия, и взрывчатки, и горючего для автомашин.

То, что мы с Артуром поменялись ведомствами, неудивительно. В те годы офицеров часто переводили из Разведуправления в НКВД, из НКВД в Разведуправление, а были и такие, кого я видела на работе в НКВД, а потом в КПСС.

Правда, обычно при уходе из НКВД офицеры продолжали работать там негласно. С некоторыми из них я была хорошо знакома, но имен называть не буду, потому что они сами признались мне в этом.

В пользу разведчиков могу сказать, что это народ живучий. Сколько мне пришлось наблюдать, если их не засыпают неутомимые связные — кстати, они очень любят причислять себя к разведчикам и если они ничем не мешают начальству, то спокойно, — относительно, конечно, доживают лет до восьмидесяти.

Однако, офицерам фронтовой тактической разведки пришлось плохо. Это стало ясно с самого начала войны. Причиной тому, скорее всего явилась их очень низкая квалификация, а иногда и вообще полное отсутствие специальной подготовки.

Кроме того, руководство разведывательными службами довольно пренебрежительно относилось к безопасности сво-

их подчиненных. В этом я убедилась позже, работая в военной контрразведке «СМЕРШ» Северо-Кавказского фронта. В наши обязанности входило наблюдение за отправкой агентурных разведчиков второго разведуправления штаба фронта.

В сорок третьем году его начальником был полковник Шутов. Они загубили немало разведчиков из-за простого отсутствия вдумчивости. У меня сохранилась записная книжка Артура Спрогиса. Видно, что у него не было точного учета отправляемых через фронт людей. Иногда записан только руководитель группы, а дальше стояло несколько многоточий по количеству людей.

Не было записей о людях, перешедших линию фронта и не давших о себе знать. Не были учтены погибшие помощники из местного населения или из партизан. Точно он учитывал лишь тех, кого сам готовил в своей школе.

В предвоенное время в штабах тщательно рассчитывали процент возможных потерь в различных родах войск. По разведчикам таких расчетов не было, если судить по тому, что на занятиях в академии эту тему вообще не затрагивали. Как чисто практический низовой работник могу утверждать, что большинство посылаемых за линию фронта людей гибло, то есть потери составляли около семидесяти процентов.

Вероятно, многие командиры не были заинтересованы в точном учете сотрудников, чтобы не получать нагоняй за провалы. К тому же нередко погибали и сами командиры, и никаких данных сообщить уже могли.

В крупных партизанских отрядах, руководимых НКВД — они входили в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения — потерь было значительно меньше. Они служили базами для переправки агентурных разведчиков в глубокий тыл, были прекрасно вооружены, отлично снабжались. Так, по крайней мере, рассказывали мне их командиры Кирилл Орловский и Станислав Ваупшасов.

Вернусь, однако, к нарушенному хронологическому порядку изложения. Итак, я оказалась во главе значительной группы добровольцев, отобранных для работы в московском подполье.

В случае захвата Москвы немцами, мы должны были действовать самостоятельно, а до того нужно было присмотреться к личному составу, привести материальную часть в соответствие с поставленными задачами, установить пункты встреч, оборудовать конспиративные квартиры, разработать систему связи между группами и внутри групп и многое другое.

Для связи с «большой землей» нам оставили двух радистов и двух связных. Никаких записей делать нельзя было, поэтому все приходилось держать в голове.

Меня не удивило, что ни Судоплатов, ни Эйтингон не оставили мне ориентиров по стратегически значимым объектам. Из «своих источников» я знала, что на эти объекты оставляются «персональные» специально подготовленные группы, способные не только вести тщательное наблюдение, но и провести диверсионную операцию.

Никаких конкретных задач Судоплатов передо мной не ставил, лишь довольно туманно сказал: «Чтобы под ногами оккупантов горела земля». Это значило: диверсионные и террористические акты по своему усмотрению. Состав отряда открывал довольно широкие возможности.

Правда, специалистом по подрывам была я одна, но если бы даже нас было двое, все равно нам пришлось бы работать в паре, потому что я не могла не контролировать выполнение такой важной акции.

Для сбора разведданных у меня было три женщины: опытная подпольщица Моисеенко и две эффектные девушки, одна из которых совершенно чисто говорила по-немецки с прекрасным берлинским произношением. Кажется, она была дочерью одного из посольских работников, долго пробывшего в Берлине.

Этих девушек я никому не показывала, кроме моей связной Нади Климашенко. Еще одна девушка жила «со своей теткой» — старушкой, но я еще не решила, что им можно поручить. Ее звали Нина Генералова.

Преподаватель истории из Московского университета Козодоев возглавлял диверсионную группу, которой предсто-

яло совершать и террористические акты. В эту группу входили два партизана времен гражданской войны.

Оружием и гранатами для них я запаслась, но на руки пока не выдавала, обучала взрывному делу и премудростям конспирации.

Значительная часть отряда была занята прикрытием складов, другие как «почтовые ящики», сигнальщики и наблюдатели. Их расселили так, чтобы хорошо просматривались подходы к домам, где разместились боевые группы.

В главной конспиративной квартире — «штабе» — жила я, радистка и двое связных. Держать в квартирах что-либо из технического оснащения я запретила, чтобы не провалиться по дурацкой случайности.

Отказалась я и от предоставленных начальством прекрасных бараньих полушубков. Они хоть и отличались друг от друга цветом покрывающей ткани, но пуговицы, нитки и крой были совершенно одинаковые. Отказалась я и от шарфов, шапок и носков — от всего, что было с центральных складов. При провале двух-трех человек в одном конце города даже не из моего отряда немцы спокойно могли бы приняться за чистку всего города по этим пуговичкам.

По соображениям конспирации пришлось отказаться и от продуктов длительного хранения. Я взяла лишь то, что мы могли съесть в ближайшие дни.

Конечно, это не сулило легкой жизни, но лучше быть живыми, чем сытыми. Наша жизнь ничем не должна была отличаться от жизни городских обывателей. Так оно и вышло. Мы и мерзли и голодали. Одна моя связная съела с голодухи целую банку выветрившейся горчицы.

В самом крайнем случае я могла вывести людей в северные леса через Сокольники, местность, хорошо мне знакомую по мирным загородным прогулкам. Прощаясь со мной Судоплатов сказал: «Даже если вам ничего не удастся сделать, если вы просто продержитесь в городе, это уже будет очень хорошо.»

Я это учла, но своим, конечно, не передала — не педагогично. Пароли, опознавательные знаки и сигналы заранее

не устанавливались, потому что они могут служить не более двух суток.

После выезда из Москвы начальства и наших оперативников я проверила, как работает система в целом и пока ничего не меняла, ожидая возвращения наших или занятия города противником.

В середине августа, еще до потери Смоленска, я сдала свой партбилет в ЦК, а остальные личные документы в НКВД. То же сделали и другие подпольщики, но многим смена документов не требовалась, а некоторым не требовалась и смена адресов. Это были наиболее надежные варианты.

Тогда же мы выписали денежные аттестаты своим родным, но пока их оформляли, немцы начали наступление на дальних подступах к Москве.

Столица спешно эвакуировалась. Начальники, располагавшие служебными автомашинами, забивали их барахлом и женщинами — не всегда своими женами и устремлялись к единственному безопасному пути на Нижний Новгород с неподходящим названием «шоссе Энтузиастов».

Тогда на шоссе появились вооруженные группы ополченцев, которые останавливали машины, вытряхивали как вещи, так и пассажиров, а транспорт забирали для нужд обороны. Ни на чины, ни на угрозы они не обращали никакого внимания, а оставшиеся в городе жители наблюдали за этими сценами с большим удовольствием.

Магазины закрылись. По карточкам уже ничего не выдавали, а на оставшиеся от них корешки дали по пуду (шестнадцать кг) муки. Это было, как выяснилось позже, на три месяца.

Деньги нашим семьям не перечислили, как будто бы из-за спешки. Сын сестры был в интернате, и на нем это не отразилось, а вот родителям пришлось туго. Они оставались без средств к существованию десять месяцев и вынуждены были менять на продукты одежду.

Несмотря на запрет, многие подпольщики установили связь со своими эвакуированными семьями и узнали, что те тоже денег не получили. Кое-кто из начальства еще был в Москве, и мы начали разбираться, в чем дело.

Оказалось, виноват начальник бухгалтерии по фамилии Пропой. Вероятно, он прикинул, что при суматохе и конспирации это не выплывет, да и начальству будет не до нас. В этом он ошибся, но никакого наказания почему-то не понес. Тут он рассчитал точно.

Эйтингона в Москве не было, и я подчинялась непосредственно начальнику управления Судоплатову. Связь держали через его оперативников, число которых быстро сокращалось. От них удавалось узнать кое-что о положении на фронтах — нам почти ничего не сообщали. Я даже не знала, в каком подразделении и на какой должности теперь числюсь.

Если верить капитану Киселеву, я числилась в Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения. Потом мне сообщили, что бригада расформирована, и я переведена в Четвертое главное управление НКВД.

Об остальных бойцах я и не спрашивала, да и они меня не спрашивали. Эти проблемы уже никого не интересовали.

Артур в боях под Москвой получил тяжелую рану в живот. Его вывезли из партизанского лагеря самолетом, и он находился в каком-то госпитале, но найти его я не смогла. На всякий случай я заняла четырехквартирный дом в Сокольниках, который Спрогис передал мне после выезда оттуда своей матери и сестры.

Продовольствием нас не снабжали, кормились кто как мог. Только я получала офицерский паек, который мы делили на четверых. Двадцать килограмм сахарной пудры, запасенной для приготовления взрывчатки, мы тоже съели.

Одного из нас, живущих на главной квартире, мы прозвали «Крокодилом». Это был пожилой, чопорный и совершенно бесполезный мужчина, а такое прозвище он получил из-за того, что пожирал все, до чего мог дотянуться руками.

С благодарностью вспоминаю начальника отдела Сташко. Его семья эвакуировалась, и он делился с нами своим пайком. Многое из нашей одежды тоже пошло в обмен на продукты. Решили, что обойдемся одним комплектом белья на каждого, ведь можно было вечером постирать, а утром одеть высушенное.



К несчастью, водопровод вскоре выключили, а газ почти не горел. Потом отключили и центральное отопление, и, ложась спать, мы одевали пальто.

Руки бы поотрывать писателям и киносценаристам, показывающим жизнь разведчиков как сплошной праздник: рестораны, отели, яхты и пачки долларов. Ничего подобного подавляющее большинство разведчиков не видит ни в военное, ни в мирное время.

В условиях нормальной для других жизни разведчику требуется не владение оружием, не знание приемов каратэ, не умение головокружительно вести автомашину. До всего этого дело почти никогда не доходит.

А вот, что необходимо — это высокая трудоспособность, неприхотливость, выносливость, готовность к бездомному голодному существованию и большое, очень большое терпение.

На разведчиков возлагается вина за провал операции, хотя, как правило, виной тому бывают просчеты начальства или небрежность связных.

Тем не менее, при возвращении разведчик нередко прямо с границы отправляется в Сибирь, и многие разведчики знают о возможности такого поворота событий.

Почему-то до сих пор существует строгий запрет на информацию о московском подполье. Я постоянно сталкиваюсь с этим при киносъемках, радиопередачах, телепередачах, когда даю интервью или выступаю в различных учреждениях. Даже в санатории для ветеранов партии афиша о моем выступлении с рассказом о московском подполье моментально исчезла, а выступление не состоялось.

Администрацию, конечно, я не стала расспрашивать, задала вопрос одному из видных генералов, который в те далекие дни тоже оставался в Москве. Лицо его стало испуганным:

— Что вы, что вы, — нельзя даже допустить, чтобы кто-нибудь подумал о том, что мы могли сдать Москву!

Другой генерал, не зная, кто я, горячо доказывал мне, что никакого подполья в Москве вообще не было. Конечно, в дни, когда артиллерийская стрельба была слышна уже в центре го-

рода, нужно было поддерживать уверенность в том, что Москва не сдадут ни при каких обстоятельствах.

Но теперь уже можно сказать правду, чтобы не выглядеть перед всем миром идиотами, даже не готовившимися к худшему варианту развития событий.

Структура сопротивления в столице была упразднена лишь в конце сорок второго года. Игнорирование фактов неизбежно повлечет за собой ошибки в дальнейшем. Войны еще будут. Не знаю, какая участь ждет эти мои мемуары, но я обязана их написать, как любой командир обязан подать рапорт обо всем, что случилось.

Состав подпольщиков был весьма неоднородный. Были и прекрасные специалисты в области активной разведки, были и сугубо штатские люди, никогда не державшие в руках оружия. Большинство из них было расселено в коммунальных квартирах, что вполне соответствовало московским условиям жизни.

Артур подбросил мне еще ящики для мин с электропроводкой, а от устройств с химическими и механическими системами действия я отказалась: чем сложнее, тем хуже. Через ЦК ВЛКСМ он получал их с военного завода в Нижнем Новгороде.

Помог он и с продовольствием. Эйтингон дал мне пачку не заполненных паспортов со всеми нужными штампами и печатями и несколько ордеров на пустующие квартиры — были и такие, хозяева их выехали, вероятно, «самотеком».

В октябре, когда к выезду в Самару готовилась основная часть оперативников и начальство, мы одно время оставались вообще без руководства и почему-то без связи, но недели через две появился генерал Мельников, как главный руководитель подполья, оставляемого НКВД. Группы Разведуправления, куда входил Артур, были подчинены генералу Минштейну.

Разведка и танки противника стали появляться вблизи Москвы. Со стороны Савеловского вокзала, где находилась моя конспиративная квартира, они были замечены на шестнадцатом километре.

Пришел прощаться Павел Анатольевич Судоплатов. Сопровождавший его оперативник, поздоровавшись, тут же

вышел за дверь, и последний разговор происходил у нас с глазу на глаз. Он выслушал мой краткий доклад, никаких замечаний не сделал. После небольшой паузы Судоплатов сказал:

— Обстановка очень острая. Будьте готовы ко всему. Имейте в виду, что завтра, когда вы проснетесь, в городе уже могут быть немцы. Мы уезжаем все. Дальше будете действовать совершенно самостоятельно.

Я молча кивнула головой.

— Где у вас личное оружие?

— Оставила при себе. Если задержат, шансов все равно не будет. А не задержат, так и не обнаружат.

Он тоже кивнул, но добавил:

— Если вас схватят, мы примем все меры для освобождения. Верьте в это до последнего момента.

Я опять согласно кивнула головой, хотя и не поверила. При захвате противником столицы это было нереально.

— В город наверняка прибудет Гитлер. Для его уничтожения не жалейте никого, и себя не жалейте.

Это я могла пообещать твердо, но оба мы понимали, что шанса такого у нас не будет. Скорее, какой-нибудь дикий случай.

Потом Судоплатов пригласил остальных, живших со мной бойцов, и напомнил о строжайшей конспирации и дисциплине, о необходимости беспрекословного выполнения любых приказов командира. Это, как я понимаю, для подкрепления моего авторитета. Он напомнил, что командование будет всегда помнить о нас и по мере сил поддерживать.

На этом мы и распрощались.

Поддержка Судоплатова была не лишней. «Крокодил» все время ворчал, что ему обещали отдельную квартиру, «жену» и «прислугу». А на деле выходит нечто другое, и им командует какая-то молодая женщина, как на фронте. Он был трусоват и привередлив, ничего не умел и оказался ни к чему непригодным. Мы держали его лишь как прикрытие: глава интеллигентной семьи, адвокат. Вскоре я его отселила и решила при обострении обстановки прервать связь.

Вскоре в Москву вошли свежие сибирские части. Они прошли колоннами через весь город. Все люди сбежались встречать их, многие женщины плакали.

С появлением сибиряков Москва ожила, но до разгрома немцев оставалось еще более месяца. Мы тщательно наблюдали за городской жизнью и почти все время проводили на улицах.

Как-то я забрела на Центральный рынок. Он был пуст, только один старик продавал корешки хрена. Через несколько дней в городе стали появляться молочницы из ближних деревень, но цены были совершенно неприступными. Деньги на всех мне оставили на полгода вперед без расписки, и я выдавала их тоже без расписок.

Перед отъездом ко мне забежал наш оперативник Дмитрий Киселев и положил на стол средних размеров ящик.

— Бомбу хотите?

Бомбу я хотела. Готовых у нас не было, а Мельников, забрав несколько наших «ящичков», сам ничего не предложил. Видимо, у него уже ничего не было, а может быть не хотел давать. Я поняла, что добывать придется самой.

— А схема?

— Схемы нет.

— Ну хоть какая-нибудь сопроводилка?

— Ничего. Только бомба.

Дмитрий ушел, а я стала ее осматривать, надеясь на свои познания. Бесплезно: она была сплошь залита толстым слоем вара, ковырять который не следовало. Бомба могла иметь самый неожиданный взрыватель. Куда бы ее засунуть? По глазам своих соратников я поняла, что выбирать на приходится, и положила бомбу себе под кровать. Город бомбили каждый день, а эта штука могла и сдетонировать. Первым не выдержал «Крокодил»:

— Надо убрать эту бомбу. Неизвестно, как она работает. Сдетонировать может, и вообще...

Все моментально и дружно его поддержали.

— Хорошо. Отвезите ее Козодоеву. Он командир диверсионной группы.

Крокодил быстро согласился. Видимо, он был готов на все, лишь бы избавиться от такого соседства. Договорились о встрече.

К моему удивлению, Козодоев отнесся к этому совершенно спокойно. Только потом я узнала, что он без лишних разговоров решил сразу выбросить бомбу в реку, тем более, что жил у набережной.

На следующий день «Крокодил» с завернутым в детское одеяло трехкилограммовым ящиком на руках вышел из дома. Путь был неблизкий: от Савеловского вокзала до Замоскворечья. Он должен был пройти его пешком, но нарушил инструкцию и сел в трамвай, тем более, что Козодоев ждал его именно у остановки. Доехал вполне благополучно, хотя могу себе представить его состояние.

Сияя от счастья, Крокодил вышел на переднюю площадку трамвая — как «отца-одиночку» его пропустили вперед — на секунду задержался в дверях, ища глазами Козодоева...

Дальше рассказал Козодоев:

— Стою, жду Крокодила. Смотрю, трамвай подходит. Открываются двери, а на площадке Крокодил — рот до ушей, глаза вытаращены на меня. Тут он широко заносит ногу сразу над всеми тремя ступеньками и делает шаг вперед.

Я моментально сиганул за угол и зажмурился. Прошло несколько секунд. Взрыва не было. Я выглянул из-за угла и вижу, что Крокодил лежит в снегу на спине, задрал кверху свои длинные ноги, и на вытянутых руках держит высоко над головой злополучный ящик. К счастью, он не помер от страха и не потерял сознания.

Холода наступили скоро. Девчата не выдержали и решили достать «по знакомству» зажигательную бомбу. Так раскрылось, что они перезнакомились с некоторыми оставленными в Москве подрывниками.

Впрочем, о присутствии коллег я догадалась еще раньше, когда начальство посоветовало мне не расселять людей вблизи мостов, транспортных узлов и энергосооружений. Я не ста-

ла их ругать — должны же быть у людей какие-нибудь радости, тем более в такой мрачной обстановке.

Мы налили в ванну немного воды, поставили туда чугунную гусятницу, а в нее положили бомбу. Все двери закрыли, подожгли бомбу и стали ждать, когда квартира наполнится теплом.

Вскоре из-под двери ванной появился легкий белый дымок. Мы переглянулись — этого не должно было быть. Через минуту дым валил уже через все щели. Мы отступали все дальше и дальше, но вскоре не могли уже разглядеть даже собственных рук.

Пришлось открыть дверь на лестницу и окна, а дым все возрастал с поразительной быстротой. Мы кое-как оделись, выскочили на улицу и заняли наблюдательную позицию на другой ее стороне — должны были приехать пожарники.

Они действительно приехали, причем довольно быстро, и начали заливать наши окна из шлангов. Вскоре дым опал, и пожарники кинулись вверх по лестнице, долго лазали по всему дому, не понимая, что и где горит, да так и уехали, весьма озадаченные.

Квартира наша стала не только еще холоднее, но вдобавок еще сплошь покрылась льдом. Мы перебрались в запасную квартиру, а в этой оставили сторожем Крокодила. Он хоть и покривился, но повинился молча, находясь еще, вероятно, под впечатлением генеральских наставлений.

Москва сильно опустела. Артиллерийская стрельба слышалась все ближе и ближе. Улицы перегородили надолбы, рвы и противотанковые ежи. Все это делало оставшееся в столице население, которое Бог знает чем питалось.

Впрочем, кое-какие продукты работающим все же выдавали. По ночам люди дежурили на крышах домов, сбрасывая оттуда зажигалки. Это, в основном была молодежь. Им выдавали для этого кожаные фартуки и длинные щипцы. Кто постарше, дежурили у подъездов, чтобы затруднить работу сигнальщиков, наводящих самолеты противника на важные объекты. Когда с какой-нибудь крыши мелькал зеленый огонек, все бросались туда, но обычно никого не заставляли.

Пожаров было мало, то ли потому, что деревянных домов было не густо, то ли потому, что все заборы, киоски и сараи были разобраны на дрова и мирно горели в маленьких железных «буржуйках».

Удивительно было, что при столь малочисленной милиции, да и вообще боеспособных мужчин, грабежей на улицах было мало. Тут много работы ложилось на плечи девушек. Они по три-четыре человека патрулировали ночью улицы, они поднимали над городом противосамолетные аэростаты.

Кстати сказать, самолеты особенно и не снижались, предпочитая беспорядочно сбрасывать бомбы с большой высоты. Наши ловили бомбардировщики в перекрестия прожекторов, а зенитчики открывали огонь.

Точные попадания как с той, так и с другой стороны были довольно редкими, а уж если бомба попадала во что-то живое, то это долго и горячо обсуждалось в округе.

В бомбоубежище мы не ходили, потому что оттуда не выпускали до самого утра. Люди с детишками бегали прятаться и в метро, и даже в недостроенные туннели. Квартиры уехавших обычно обчищали, причем часто это делали сами управдомы или дворники.

Генерал Игнатьев, автор книги «50 лет в строю» (злые языки добавляли: «И ни одного дня в бою»), рассказал мне, что когда вернулся из эвакуации, его встретил дворник со словами:

— Как вас обокрали, Алексей Алексеевич! Как обокрали!

Посмотрел, а у него на ногах мои бурки надеты.

К концу ноября напряжение спало. В Москву вернулось наше начальство и оперативный состав. Киселева вскоре сменил Александр Балакин, умный и симпатичный оперативник, с которым мы работали и после войны, когда я была за границей. Отличался он абсолютной честностью, высокой надежностью и точностью.

Наступил сорок второй год. Бои под Москвой отгремели, и противника отбросили так далеко, что бомбежки почти прекратились. В магазинах стали давать кое-что по карточкам.

Начали возвращаться люди, но всех в город не пускали. Въезд разрешался только эвакуированным организованно и уехавшим по командировкам.

Возможно, кому-то мои записки покажутся несколько легковатыми, что ли, а мы несколько беспечными. Это не так, конечно. Просто мне неприятен пафос и драматизм.

На самом деле это были очень тяжелые жизненные минуты. У Нади Климашевской в блокадном Ленинграде оставались маленькие сестра и брат, я еще ничего не знала ни о судьбе сестры, ни о судьбе родителей, а у некоторых в семьях уже были погибшие. Но об этом мы не говорили.

Немцы готовили крупное наступление на юге, и я стала просить начальство перебросить меня туда, тем более, что некоторые местности я хорошо знала. Однако, нас продолжали держать в Москве в состоянии готовности, хотя всем было ясно, что «пронесло». С подчиненными таких разговоров я не поддерживала, чтобы не сбивать боевой дух.

Судоплатов требовал от меня строгости, а Эйтингон наоборот, напоминал, что нужно быть снисходительной, ошибки случаются со всяким. Он рассказал мне, как во время гражданской войны после длительного тяжелого перехода он занулся на посту. Командир это заметил, но пожалел. А ведь верный трибунал был бы.

О себе он говорил очень мало, но иногда подчеркивал, что строг с подчиненными. Не знаю, я этого никогда не замечала. Его старшая приемная дочь Зоя Зарубина сказала мне на это, что мне сильно повезло.

Что ж, может быть. Наши оперуполномоченные, особенно Киселев, очень его боялись, и готовы были вынести от меня любой разнос, лишь бы я не докладывала Эйтингону.

В разговорах с подчиненными он никогда не проявлял ни спешки, ни нетерпения и заканчивал лишь тогда, когда у собеседника не оставалось никаких вопросов.

Это было очень мудро. Часто начальнику не сообщают что-либо важное лишь потому, что сами не могут оценить, что важно, а что не существенно, и боятся вызвать неудовольствие начальства многословностью. Артур Спрогис тоже ни-



когда не торопил разведчиков, ни при изложении задания, ни при рапорте о его выполнении.

Правда, я всегда очень хорошо чувствовала, когда разговор перестает интересовать собеседника и сворачивала его. Похоже, я не ошибалась, потому что при этом меня никогда не задерживали. А за Эйтингоном я заметила: если он клал одну ладонь на стол — вопрос закрыт; если две ладони — пора уходить.

Совершенно иначе вел себя Белкин. Он был разговорчив, скор на слово и на действие, но любил немного приврать, поэтому никогда нельзя было ручаться за достоверность его рассказов.

Хотя я и просилась на юг, мне казалось, это наступление немцев скоро выдохнется. С детства, когда мы жили в Орле, я помню южное наступление «белых», помню, как они ворвались в город. Начались еврейские погромы, повешенные на фонарных столбах, трупы на улицах. От нас, детей, все эти ужасы прятали, закрывая ставни на окнах, а мы в щелочки подсматривали, что там происходит.

В наш дом на постой определили двух офицеров. Они прежде всего осмотрели все комнаты, даже кухню, и там на печи нашли раненого паренька, которого мы подобрали ночью на улице. Офицеры стащили его на пол и выхватили пистолеты.

Наши тетки выставили нас, пятерых ребятшек, велев орать во все горло. Визг был такой, что офицеры заткнули уши. Потом потащили парня во двор. Тут бабушка загудела своим мощным голосом: «Не позволю в моем доме!» Тетки, молодые и хорошенькие, кинулись ей на помощь. Офицеры сдались: «Отправляйте в больницу». До Москвы «белые» не дошли.

При «красных» террора не было, впрочем, и особой заботы о населении тоже. Раз в неделю детям выдавали по булочке и четыре конфеты. По домам ходили вооруженные группы добровольцев, которые изымали «излишки» и распределяли их между вдовами и стариками. Во всяком случае, частых похорон я не видела, но запомнилось, как на руках носили иногда на кладбище детские гробики...

Я заметила, что мои бойцы тоже тяготеют вынужденным бездельем и просят на фронт, но никто из нас определенно-

го ответа не получал. Эйтингону удавалось уклоняться от серьезных разговоров на эту тему. Когда он навещал нас, то с глазу на глаз поговорить не удавалось, а когда я была у него в кабинете, мешали посетители и телефонные звонки.

Тогда я пошла на хитрость — купила два билета в оперу на «Демона» и напросилась на прием. Он выглядел очень усталым, и в его взгляде я прочитала: «Ну, чего тебе еще?» Благодаря моей дружбе с Белкиным он допускал между нами дружеские отношения.

— Устали? — спросила я сочувственно.

Он немного насторожился и помолчал.

— Со зрением плохо...

— Морковку надо есть. Там каратин — специально для зрения. Восстанавливается по одному проценту в день.

Он усмехнулся и выжидательно промолчал.

— А еще лучше просто отдохнуть. У меня два билета на завтра на «Демона»...

Эйтингон глянул на меня несколько озадаченно и вдруг кивнул:

— А что? Пожалуй и пойдем.

Я положила на стол один билет и попрощалась. Однако в театре поговорить тоже не удалось, ни во время спектакля, ни в антрактах, а после окончания он сразу уехал в НКВД. Я уныло поплелась домой, так ничего и не выяснив.

Однако я недооценила его проницательности. На следующий день он меня вызвал.

— Так вы хотите ехать на фронт?

— Да. Пора.

— Хорошо. К Михаилу на Кавказ поедете?

— Поеду.

— Будьте готовы. Документы вам будут сделаны.

Готовить мне было нечего. Все было на мне.

*Продолжение в № 251*

Лидия Головкова

### Храм для безбожника<sup>1</sup>

#### *Поэты и чекисты*

В тысяча девятьсот двадцать третьем году в писательской среде состоялся товарищеский суд над поэтами — Есениным, Ганиным, Орешиним и Клычковым. По этому поводу журналист Михаил Кольцов писал в «Правде»:

«Недавно закончился с большим шумом и помпой шедший товарищеский суд по «делу четырех поэтов» о хулиганских и антисемитских выходках в пивной.

На суде было очень тяжело. Совсем девятьсот восьмой год... Надо наглухо забить гвоздями дверь из пивной в литературу. Что может дать пивная в наши дни и в прошлые времена — уже всем ясно. В мюнхенской пивной провозглашено фашистское правительство; в московской пивной основано национальное литературное объединение «Россияне». Давайте заявим, что все это одно и то же...»<sup>2</sup>.

Расправа с поэтами круга Есенина началась еще при его жизни. Поэта Алексея Ганина, бывшего жениха Зинаиды Райх и друга Есенина, арестовали в Москве в ноябре двадцать четверто-

---

<sup>1</sup> Главы из готовящейся к печати книги «Храм для безбожника». В ней рассказывается о первом Московском крематории, его переустройстве из храма преп. Серафима Саровского и св. благов. Анны Кашинской, существовавшем изначально в пику христианам как «Кафедра безбожия», а затем принявшем на кремацию множество расстрелянных в годы сталинского режима. — Л. Г.

<sup>2</sup> Кольцов Михаил. «Не надо богемы» // «Правда». 1923 г. 30 дек. Цитаты даются с небольшими купюрами.

го года. Было сфальсифицировано дело под названием «Орден русских фашистов». По делу проходило тринадцать человек. Незадолго до вынесения приговора Ганин говорил на допросе:

«Я не знаю, это вам виднее, насколько я, взятый вместе со всеми этими людьми, а без них я давно бы сдох с голоду или стал хитрованцем, представляю опасность для государства трудящихся. Я не боюсь смерти. Но мне не хочется умирать как врагу власти рабочих и крестьян, с которыми связана вся моя жизнь, все, все лучшее, что есть у меня в душе, для которого я берег мои лучшие чувства и мысли».

Просьба Алексея Ганина о сохранении жизни не была удовлетворена.

По окончании следствия секретарь Президиума ВЦИК СССР А. С. Енукидзе писал:

«...Находя, что в силу некоторых обстоятельств передать дело для гласного разбирательства в суд невозможно — полагал бы: „Войти с ходатайством в Президиум ВЦИК СССР о вынесении по делу Ганина А. А. внесудебного приговора”».

Нам неизвестны обстоятельства, в силу которых нельзя было устроить обычный открытый суд. Однако можно сделать некоторые предположения.

Мы привыкли думать, что допросы двадцатых годов были более щадящими, чем в конце тридцатых. Но сохранились сведения, что двое из проходивших по «делу Ганина», находясь под следствием, сошли с ума. Да и сам Алексей Ганин к концу следствия был в таком состоянии, что пришлось в отношении него провести судебно-психиатрическую экспертизу, признавшую его невменяемым, а, значит, не отвечающим в уголовном порядке за свои действия.

Это не помешало, однако, грубо нарушив закон, расстрелять Алексея Ганина как главу «ордена». Вместе с ним были расстреляны поэты Николай и Петр Чекрыгины, поэт и художник Виктор Дворяшин, поэт Владимир Галанов и юрист Михаил Кротков. Тела их захоронили в центре Москвы на территории Яузской больницы.

Глубоковского и Александровича-Потеряхина приговорили к десяти годам Соловков. Судьба остальных неизвестна.

Алексей Ганин:

*Гонимый совестью незримой  
За чью-то скорбь и тайный грех,  
К тебе пришёл я, край родимый,  
Чтоб полюбить, прощая всех.  
«Былинное поле». 1924*

Еще целая группа поэтов, и «крестьянских», и совсем не «крестьянских» — во главе с бывшим князем, царским офицером Авениром Вадбольским — была расстреляна в тридцатом году и захоронена на Ваганьковском кладбище, где в двадцать пятом году похоронили и самого Есенина. В течение десятилетий планомерно преследовались и уничтожались последователи и почитатели его поэзии.

Вспоминая двадцатые годы, Владислав Ходасевич писал в эмиграции: «Все известные поэты в те годы имели непосредственное отношение к ЧК». Со стороны поэтов, многие из которых были тогда совсем юными, это было какое-то детское романтическое влечение к чему-то таинственному, обладающему скрытой силой и властью над людьми.

Завсегдатаем «Кафе поэтов» и «Стойла Пегаса» был известный нам уже по спецотделу ОГПУ чекист, диверсант, убийца германского посла Мирбаха Яков Блюмкин. Иногда он даже вел поэтические вечера.

В небезопасной для себя дружбе с ним находились Маяковский и Мандельштам. «Дорогой Блюмочка» — называли чекиста в литературных кругах, знаменитые поэты посвящали ему стихи, дарили книги с трогательными надписями. Но особенно близок Блюмкин был с Есениным. Сохранился автограф Есенина на книге стихов: «Дорогому товарищу Блюмкину. На веселый воспомин рязанского озорника Сергея Есенина».

Блюмкин не остался в долгу и назвал своего единственного сына Мартином — в честь героя есенинской поэмы «Товарищ»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Спасая сына Мартина от репрессий, жена Я.Г. Блюмкина поменяла ему имя и фамилию; следы его затерялись. — Л. Г.

Есенин и Блюмкин появились в столице почти одновременно, в начале восемнадцатого года. Оба были бездомными и даже жили какое-то время вместе у братьев Кусиковых в Большом Афанасьевском переулке. Когда братьев обвинили в контрреволюционном заговоре, арестовали и Есенина, который в то время находился у них. Но всемогущий уже тогда Блюмкин поручился за поэта, и его через восемь дней освободили из тюрьмы.

Есенин любил появляться с Блюмкиным на разных богемных вечеринках, демонстрируя свою дружескую близость с известным чекистом.

— А хотите посмотреть, как расстреливают в подвалах ЧК? — спрашивал Есенин каких-нибудь понравившихся ему дам. — Я вам через Блюмкина это живо устрою...

В своей кожаной чекистской куртке, с неизменным маузером у пояса, с пачкой ордеров на аресты и списками приговоренных к расстрелу, Блюмкин производил неизгладимое впечатление на богемную публику.

Правда, однажды Мандельштам выхватил из рук чекиста пачку заполненных ордеров и разорвал их на мелкие кусочки, рискуя при этом быть побитым или пристреленным. Испугавшись, Мандельштам после этого даже сбежал на Кавказ.

Бывали между поэтами и чекистом другие ссоры, грозившие обеим сторонам крупными неприятностями. Был случай, когда, разругавшись со своим другом Есениным, Блюмкин выхватил оружие и грозился его сию минуту застрелить. В основном ссоры между молодыми людьми, как и полагается, вспыхивали из-за подруг. Но как-то все в конце-концов обходилось без кровопролития.

К женщинам Блюмкин был равнодушен и в любви отказов не знал. Романы его были бурными и скоротечными. Но именно от рук женщин больше всего и пострадал этот не знавший страха «молодой любовник революции», как называл его Лев Троцкий.

На Блюмкина было совершено восемь покушений, причем первые четыре были организованы его боевой подругой-эсеркой Лидой Соркиной, которая мстила ему за переход к большевикам.

Несколько раз Блюмкин был тяжело ранен. А его последняя любовь Лиза Горская<sup>1</sup>, являвшаяся на самом деле одной из лучших «агентесс» ОГПУ, сгубила знаменитого чекиста окончательно; она сообщила о его тайных связях с Троцким, которого он очень высоко ценил. По другим сведениям, Блюмкин, вернувшись из заграничной поездки, передал Радеку письма от Троцкого, которые тот, не читая, отдал куда следует. Скорее всего одно не исключает другого.

Когда-то Блюмкин познакомил Есенина с Троцким. Поэт очень дорожил этим знакомством. Своему другу и родственнику поэту Василию Наседкину Есенин говорил, что считает Троцкого «идеальным законченным типом человека» и что ему «...нравится гений этого человека». Правда, к концу своей недолгой жизни поэт разочаровался во всех, кроме самых близких друзей-поэтов.

Надо признать, что такой сугубо жесткий, даже жестокий политик как Троцкий, понимал Есенина тоньше, чем иные русские литераторы тех лет.

«Наше время — суровое время, — пишет Троцкий после гибели поэта, — может быть, одно из суровейших в истории так называемого цивилизованного человечества... Эпоха наша — не лирическая. В этом главная причина того, почему самовольно и так рано ушел от нас и от своей эпохи Сергей Есенин»...

Причину гибели поэта Троцкий видит в страшном разрыве между внутренней лирической сутью поэта и грубым неистовством революции. «Поэт не был чужд революции, — писал Троцкий, — он был несроден ей. Есенин интимен, нежен, лиричен, — революция публична, эпична, катастрофична. Оттого-то короткая жизнь поэта оборвалась катастрофой»...

«Поэт погиб потому, что был несроден революции, — опять повторяет Троцкий. — Но во имя будущего она [революция] навсегда усыновит его».

---

<sup>1</sup> В 1929 году Блюмкина выдала Лиза Горская. Выйдя впоследствии замуж и взяв фамилию мужа (Зарубина), она стала первоклассным резидентом советской разведки за границей и в годы войны принимала участие в советском атомном шпионаже. — Л. Г.

В завершение статьи Троцкий пишет: «Умер поэт. Да здравствует поэзия! Сорвалось в обрыв незащищенное человеческое дитя. Да здравствует творческая жизнь, в которую до последней минуты вплетал драгоценные нити поэзии Сергей Есенин»<sup>1</sup>.

Во всех изданиях переписки Максима Горького изымались слова писателя: «Лучшее о Есенине написано Троцким».

Но уже через год после гибели поэта самая низкопробная брань обрушилась на Есенина и его последователей, приведшая в конце концов к физическому их уничтожению. И со стороны кого же? Один из образованнейших членов правительства Николай Иванович Бухарин свою статью о поэте начинает словами: «...Есенинщина — это самое вредное, заслуживающее настоящего бичевания явление нашего литературного дня... Есенинский стих звучит нередко как серебряный ручей. И все-таки в целом есенинщина — это отвратительная, напудренная и нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого еще более гнусная...»<sup>2</sup> Далее — все в том же роде.

Вновь за поэтов — и есенинского и неесенинского круга — принялись в тридцать шестом году: первыми пострадали Ричард Пикель и Андрей Мусатов.

Но больше всего перестреляли поэтов летом тридцать седьмого года. Почти все они до ареста получили образование в Литинституте, возглавляемом Брюсовым, ко времени ареста, несмотря на молодость, были членами Союза советских писателей и людьми для читающей публики небезызвестными.

Так называемым «новокрестьянским поэтам» было предъявлено обвинение «в творческой близости к кулацкому поэту» Есенину. «Органы» настолько серьезно относились тогда к поэзии и ее влиянию на советских граждан, что открыли настоящую охоту на поэтов.

---

<sup>1</sup> Троцкий Л. Памяти Сергея Есенина // «Правда». № 15, 1926 г.

<sup>2</sup> Бухарин Николай. Злые заметки // «Октябрь». № 2, 1927 г.



В марте тридцать седьмого года расстреляли Ивана Филипченко, мае и июне как участников контрреволюционной группы — Юрия Островского и Бориса Кушнера. Борис Кушнер, ярый приверженец советской власти, упрекал Бурлюка, Каменского и даже Маяковского «в недостаточной политической активности», то есть был более чем лоялен по отношению к советской власти<sup>1</sup>.

В июле тридцать седьмого года расстреляли Симона Виталина, затем — еще семь поэтов. Опять — «терророрганизация, высказывания намерения убить Сталина» и прочая чушь. Это поэты: Иван Васильев, Михаил Герасимов, Михаил Карпов, Иван Макаров, Павел Васильев, Тимофей Мещеряков, Владимир Кириллов.

Родина убивала своих поэтов, которые писали посвященные ей стихи.

Владимир Кириллов:

*Тихий мир дремучих преданий,  
Золотое приволье полей,  
Колокольчик в вечернем тумане  
И колдующий шёпот ночей.  
Выйдешь в поле — и взор цепенеет,  
У зелёной заглохшей межи.  
Материнскою ласкою веет  
От душистых разливов ржи.  
Грёзы ль детства с игрою, с покосами  
Или юности сон золотой:  
Вдруг пахнёт ароматными росами,  
И звенит, и поёт за рекой.  
Окликает знакомым голосом  
Тишина перелесков глухих,  
А в душе, как в высоком колосе,  
Наливается солнечный стих<sup>2</sup>.*

<sup>1</sup> Поэзия узников ГУЛАГа. Антология. Сост. С. С. Виленский / Россия XX век. Документы — М.: Международный фонд «Демократия»; Изд. «Материк», 2005.

<sup>2</sup> Там же. С. 408.

Конечно, не все стихи и не у всех поэтов были столь невинны, как предыдущее. Поэт Павел Васильев, которого современники считали не менее талантливым, чем Есенин, и многого от него ожидали, разразился гексаметром в адрес Иосифа Виссарионовича. И этим отрезал себе все пути к дальнейшему творчеству и существованию.

Павел Васильев:

*Ныне, о муза, воспой  
Джугашвили, сукина сына.  
Упорство осла и хитрость лисы  
совместил он умело.  
Нарезавши тысячи тысяч петель,  
насилием к власти пробрался.  
Ну что ж ты наделал, куда ты залез,  
расскажи мне,  
семинарист неразумный!<sup>1</sup>*

Такое не простили бы никому. И вот—арест, обыск, Лубянка, Лефортово, допросы, признания. И если бы хоть сразу убили, а то ведь перед этим шесть месяцев мучили. После расстрела Павла Васильева в той же Лубянке сидел писатель, критик, историк литературы Иванов-Разумник. Чудом оставшийся в живых, он рассказал о быте и нравах внутренней тюрьмы тех дней.

«...Нам суждено было стать свидетелями, а многим и страдательными участниками ряда ничем не прикрытых пыток: ими, по приказу свыше, озаменовал себя «ежовский набор» следователей.

Впрочем, должен сразу оговориться: пыток в буквальном смысле — в средневековом смысле — не было. Были главным образом «простые избиения». Где, однако, провести грань между «простым избиением» и пыткой? Если человека бьют в течение ряда часов резиновыми палками и потом замертво приносят в камеру — пытка это или нет? Если после этого у него целую неделю вместо мочи идет кровь — подвергался он пытке или нет? Если человека с переломленными ребрами уносят от

<sup>1</sup> Григорьева Ольга. Юноша с серебряной трубой. — Павлодар, 2010.

следователя прямо в лазарет — был он подвергнут пытке? Если на таком допросе ему переламывают ноги, и он приходит впоследствии из лазарета в камеру на костылях — пытали его или нет? Если в результате избиения поврежден позвоночник так, что человек не в состоянии больше ходить — можно ли назвать это пыткой? Ведь все это — результаты только «простых избиений»! А если допрашивают человека «конвейером», не дают ему спать в течение семи суток подряд — какая же это «пытка», раз его даже и пальцем никто не тронул!

Или вот еще более утонченные приемы, своего рода «моральные воздействия»: человека валят на пол и вжимают его голову в захарканную плевательницу — где же здесь пытка? А не то — следователь велит допрашиваемому открыть рот и смачно харкает в него как в плевательницу: здесь нет ни пытки, ни даже простого избиения! Или вот: следователь велит допрашиваемому стать на колени и начинает мочиться ему на голову — неужели же и это пытка?

Я рассказываю здесь о таких только случаях, которые прошли перед моими глазами...», — заканчивает свой рассказ о допросах в Лубянской тюрьме Иванов-Разумник<sup>1</sup>.

А ведь в Лефортовской, куда перевели Павла Васильева, было и того хуже. Как-то просочились на волю сведения, что двадцатисемилетнему поэту, чью красоту можно сравнить с красотой его поэзии, выжгли сигаретами его «золотые распахнутые миру» глаза, повредили позвоночник.

Так это или нет, мы уже не узнаем. Но все, что ни случилось с поэтом, даже сама смерть, все равно меньше его поэтической безмерности.

*Тяжёлый мёд расплескан в лете,  
И каждый дождь — как с неба весть.  
Но хорошо, что горечь есть,  
Что есть над чем рыдать на свете.*

«В Павле Васильеве, — пишет исследователь его творчества, — держалась великая народная культура, помноженная

<sup>1</sup> Там же. С. 44–45.

на интеллект родной семьи, ее идеал: много знать, служить Отечеству. Осыпанный из щедрых ладоней Бога разными талантами, поэт рано впитал начитанность поколений, музыкальность поколений, работоспособность поколений, философию и красоту поколений»...

Через несколько дней после расстрела семерых поэтов, в июле был расстрелян Петр Парфенов; в августе — Линард Лайценс и Фатых Сайфи. Поэты Борис Губер, Николай Зарудин и Иван Приблудный. В тот же день был расстрелян поэт, критик, редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский — ему посвящена поэма Есенина «Анна Снегина»<sup>1</sup>.

Вместе с поэтами круга Есенина был еще расстрелян его сын Юрий, двадцатидвухлетний техник-конструктор Военно-воздушной академии имени Жуковского.

Иван Приблудный (настоящее его имя Яков Овчаренко), близкий друг, считавший себя учеником Есенина, одно время живший с ним, почти член его семьи правда, доставлявший Есенину немалые огорчения, был прозван друзьями «есенинским адъютантом». Будучи крепкого телосложения, он неизменно защищал поэта во время стычек с обитателями московских пивных и дворов, хотя Есенин и не нуждался в этом; он сам нередко был зачинщиком драк. Когда-то десятилетним мальчиком Иван Приблудный сбежал из дома и странствовал с бродячим цирком по России. С тех пор и почти до конца своей недолгой жизни поэт так и оставался бездомным.

После гибели Есенина Иван снова ночевал у друзей, а нередко — на вокзалах или в подъездах. Характер его был не из приятных, в творчестве компромиссов он не призна-

---

<sup>1</sup> Александр Воронский был не только литератором, но и активным революционным деятелем. Будучи гораздо старше по возрасту поэтов есенинского круга, он к тому же являлся основателем и идеологом известного литературного объединения «Перевал», членами которого были многие погибшие в тридцатых годах поэты и прозаики. Был близок к самым верхам государственной власти, навещал Ленина в Горках, пользовался поддержкой Крупской. Воронский выступал против гегемонии пролетариата в искусстве и литературе, разделял мнение Троцкого, считавшего, что в литературу постепенно должна придти интеллигенция. — Л. Г.

вал. В результате поэт был исключен из списков жильцов строящегося Дома писателей в Лаврушенском переулке и отлучен от писательской столовой, спасавшей его от голода. А ведь он уже имел семью: жену и ребенка, которых надо было кормить.

У Ивана Приблудного вышло два сборника стихов: «Тополь на камне» и «С добрым утром»; причем стихи последнего сборника были объявлены в советской печати «вредными и плохими». Критики разъясняли читающей публике, что «самой серьезной политической ошибкой» Приблудного была опять-таки творческая близость к Сергею Есенину. Предлагалось и с самим поэтом Приблудным и с его «беспартийным „Добрым утром” решительно бороться».

Что и было сделано. Его исключили из Союза писателей, а в тридцать первом году арестовали и выслали на три года в Астрахань. По окончании ссылки он вернулся в Москву, но положение его не улучшилось. В отчаянии он написал даже письмо на имя секретаря ЦК ВКП(б) Кагановича, которое заключил словами:

«...Я бездомен. Ночую у кого придется, к каждому отдельно приспосаблиюсь, почти пресмыкаюсь. Я хочу жить полнокровно, как все, и работать полноценно. Укажите выход, т. Каганович. Уж дальше мне «ехать некуда». Иван Приблудный».

Письмо, естественно, осталось без ответа и под грифом «секретно» было переслано в Союз писателей. Единственный человек, помогший поэту в это труднейшее для него время, был, как ни странно, Николай Иванович Бухарин. Не считаясь со всеобщей травлей, он напечатал стихотворение Ивана Приблудного в своих «Известиях».

Это было необъяснимо, если вспомнить, как оскорбительно писал Бухарин о Есенине десять лет назад. Или он изменил свое мнение о «есенинщине», или та давняя статья была обыкновенным заказом? Но публикация в «Известиях» открыла Ивану Приблудному двери многих редакций. Однако продолжалось это недолго.

В апреле тридцать седьмого года Иван Приблудный снова был арестован по сфабрикованному обвинению в принадлеж-

ности к «террористической группе из среды поэтов». В отличие от многих (можно сказать — всех) он не дал ни на кого показаний, с начала и до конца отрицал свою вину.

Годы спустя жена поэта от его сокамерника узнала: когда заключенным давали бумагу для заявлений, ее муж вместо ходатайства о смягчении участи каждый раз писал издательские стихи на имя и в адрес наркома НКВД Николая Ежова. Жену поэта Наталью Петровну, конечно, тоже арестовали и приговорили к восьми годам колымских лагерей за «соучастие в террористической деятельности через недоносительство».

Последний автограф Приблудного, по свидетельству очевидцев, — надпись на стене тюремной камеры: «Меня приговорили к вышке. Иван Приблудный»<sup>1</sup>. После расстрела останки поэта, как и всех других, привезли в Донской на сожжение.

К счастью, от поэта остался не только пепел, но и стихи:

*Край мой знойный, зелёный, лесной,  
Буераки, курганы, откосы,  
Вспоминай меня каждую осень,  
Ожидай меня с каждой весной...*

*И когда, выходя на порог,  
Ты меня не узнаешь при встрече,  
Я отчало далече, далече,  
Вечно розовый сумрак дорог...*

*А когда в непогоду и дождь  
Сизый голубь забьётся у крыши,  
Обо мне ты уже не услышишь  
И могилы моей не найдёшь...*

В тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году Ивана Приблудного — последние гримасы страны Советов! — посмертно снова приняли в Союз писателей СССР...

---

<sup>1</sup> Есть мнение, что образ поэта Ивана Бездомного М. Булгаков в своем романе «Мастер и Маргарита» списал с Ивана Приблудного, но реальный поэт гораздо привлекательнее и глубже, чем его литературный персонаж. — Л. Г.

Через шесть дней после казни Ивана Приблудного, расстреляли Ивана Катаева и Татьяну Глебову-Каменеву. Обвинялась в участии в контрреволюционной террористической организации и ведении контрреволюционных переговоров с послом иностранного государства в Москве.

Бронислава Бубель-Яроцкая, Сергей Горный, Подоляков Евгений, Владимир Зубцов (Зазубрин), Сергей Третьяков, Иван Теодорович казнены в сентябре. Расстреляны Аркадий Бухов и Сергей Клычков. Поэт Сергей Клычков помимо участия в «контрреволюционной организации поэтов» обвинялся еще в связях с Львом Каменевым и как член крестьянской Трудовой партии.

Сергей Клычков:

*Как свеча, горит холодный  
На немом сугробе луч...  
Не страшись судьбы безродной,  
Ни тоской себя не мучь.  
Слёзы, горечь и страданье  
Смерть возьмёт привычной данью.  
Вечно лишь души сиянье,  
Заглянувшей в мрак и тьму<sup>1</sup>.*

В ноябре и декабре тридцать седьмого года расстреляли поэтов Махмуда Галаутдинова и Эммануила Жуховицкого.

Был расстрелян поэт Генрих Домский, поляк. В ноябре расстреляли еще одного польского поэта — Станислава Станде.

Станислав Ричардович Станде был коммунистом. Он приехал в СССР в тридцать первом году, спасаясь от преследований в своей стране. Незадолго до ареста ему с женой — замечательной пианисткой Марией Гринберг, предоставили квартиру во вновь выстроенном доме писателей в Лаврушинском переулке. Вслед за мужем арестовали отца пианистки. После этого Марию Гринберг с двухмесячной дочкой немедленно выселили. Их на некоторое время приютил Михаил Пришвин, живший в этом же доме.

<sup>1</sup> Поэзия узников ГУЛАГа. Антология. Сост. С.С. Виленский / Россия XX век. Документы — М.: Международный фонд «Демократия»; Изд. «Материк», 2005.

Говоря о расстрелянных поэтах есенинского круга, надо вспомнить еще близкого друга Есенина — Василия Наседкина, который стал членом его семьи: он женился на одной из сестер Есенина Екатерине. В конце декабря двадцать пятого года молодые люди вслед за Есениным отправились в Ленинград, чтобы отпраздновать свадьбу и начать совместную жизнь, а приехали ко гробу Сергея.

Василий Наседкин, будучи женихом сестры Есенина, весь двадцать пятый год постоянно находился рядом с поэтом. Он написал бесценные воспоминания «Последний год Есенина», которые он начинает словами: «С той поры, как я приобрел тонкую тетрабочную книжку стихов «Исповедь хулигана», я полюбил Есенина, как величайшего лирика наших дней»...

О поэзии самого Василия Наседкина критики тех лет писали: «На раннем его творчестве лежит печать мелкобуржуазного индивидуализма», «сказывается влияние Есенина. Центральными мотивами его книг... являются природа, любовь, юность жизни».

В контексте других обвинений эти перечисления должны были звучать как упрек.

В начале тридцатых годов Наседкин познакомился и подружился с поэтом Павлом Васильевым, который посвятил ему стихотворение. В нем Васильев обращается к своему другу-поэту со словами:

*Как живёт жена Екатерина,  
Князя песни русская сестра?*

После расстрела Павла Васильева и многих других арестовали Василия Наседкина, а с ним еще одного «крестьянского» поэта и друга Есенина Петра Орешина. Они проходили по делу литераторов «террористической группы писателей, связанной с контрреволюционной организацией правых». Их расстреляли, но их не отвезли в Донской на кремацию, как всех остальных, а захоронили на территории спецобъекта НКВД «Коммунарка».

Через год была арестована как ЧСИР — член семьи изменника родины — жена Наседкина — Екатерина, родная сестра



Есенина; она была выслана в Рязань на пять лет, дети, племянники поэта, отправлены в Даниловский детприемник, а затем в Пензу, в разные детские дома и не скоро увиделись с матерью<sup>1</sup>.

По тому, как планомерно истреблялись поэты ближайшего есенинского окружения, приходится в очередной раз задумываться, а был ли уход из жизни Есенина добровольным или это все-таки дело рук «специалистов». Ведь, начиная с двадцать третьего года, Есенин, в отличие от многих, уже понял, что произошло в стране и со всей горячностью поэта возненавидел советскую власть.

В письме к Кусикову еще в феврале двадцать третьего года он писал: «Если бы я был один, если бы не было сестер (*которых он содержал* — Л. Г.), то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне, сыну российскому, в своем государстве пасынком быть... Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно: что ни к Февральской, ни к Октябрьской».

В начале двадцать пятого года известный прозаик Андрей Соболев рассказывал, что так крыть советскую власть и большевиков, «как это публично делал Есенин, не могло и в голову придти никому в советской России. Всякий, сказавший десятую долю того, что говорил Есенин, давно был бы расстрелян»<sup>2</sup>.

Название последней поэмы Есенина говорит само за себя: «Страна негодяев». Некоторые строки поэмы как будто сказаны в наши дни:

---

<sup>1</sup> «Расстрельные списки. Москва. 1937–1941. «Коммунарка», Бутово». Книга памяти жертв политических репрессий. — М.: Общество «Мемориал» — Издательство «Звенья», 2000.

<sup>2</sup> Сам Андрей Соболев был когда-то страстным приверженцем революционных преобразований, но после октябрьского переворота отошел от политики. Как прозаик, был популярен в среде литераторов, в 1926 году назван читающей публикой лучшим беллетристом. В состоянии глубокой депрессии застрелился около памятника Пушкина на Тверском бульваре, нанеся себе смертельную рану в живот. Его произведения с 1928 года не переиздавались, так как были признаны Максимом Горьким упадническими. — Л. Г.

*...Не страна, а сплошной бивуак.  
Для одних — золотые россыти,  
Для других — непроглядный мрак.*

Конечно, всем «наверху» было понятно, что заставить Есенина замолчать невозможно. Но состряпать «дело» и расстрелять поэта при его невероятной популярности тоже не представлялось разумным.

Оставалось одно, небезызвестное и широко используемое советской властью: тайное и подлое убийство. Многие считают, что к убийству поэта приложил руку Троцкий и друг бесшабашной юности поэта чекист Блюмкин. Конечно, доказательств их вины нет и быть не может.

Но ближайшие друзья Есенина, видевшие его далеко зашедшую болезнь и его беспредельное отчаяние, были уверены, что поэт сам свел счеты с жизнью.

До свиданья, друг мой, до свиданья...

### ***Покровитель талантов***

В списках жертв Донского крематория — двести восемнадцать человек, попавших сюда сразу по окончании строительства канала Москва-Волга. Это и высокое начальство, и вольнонаемные, и заключенные. Их объединяло одно: все они проходили по делу Фирина — начальника Дмитлага.

Дмитровский исправительно-трудовой лагерь был образован для строительства силами заключенных канала, который должен был соединить Большую Волгу с Москвой-рекой и сделать Москву «столицей пяти морей». Для Управления Дмитлага и Мосводостроя выбрали Борисоглебский монастырь в городе Дмитрове и здание прилегающего к нему бывшего духовного училища.

Так как сотрудники музея, расположившегося к тому времени в монастыре, не соглашались освободить помещения, их арестовали, а богатейшие музейные фонды выбросили к зданию райисполкома — в назидание всем непонятливым.

Для размещения третьего отделения Третьего (секретного) отдела Дмитлага выделили самый лучший, бывший настоятельский корпус. Вся трасса канала была поделена сначала на семь, затем на четырнадцать районов. И каждый район был обеспечен своим отделением секретного отдела. Так что с этим все обстояло благополучно.

Нам сейчас даже трудно представить себе, что представляло собой строительство канала Москва-Волга. Канал планировался длиной в сто двадцать восемь километров, предстояло построить множество различных грандиозных сооружений: одиннадцать шлюзов, десять плотин, гидростанции, шесть морей-водохранилищ, Северный и Южный порты, проложить железнодорожные пути и прочее, прочее.

Начиная с тридцать второго года на стройку стали прибывать по этапу заключенные из других лагерей, в первую очередь, с Белбалтлага, затем из Балахнинского и Среднеазиатского исправительно-трудового лагеря, из Темниковских, Вишерских лагерей, из Свирлага и Сарова.

Из Свирлага, кроме заключенных, доставили еще большую партию служебных собак, уважительно перечисленных в сопроводительных бумагах поименно: Амур, Диана, Треф, Зигфрид и так далее — с требованием «зачислить их на все виды довольствия». С Соловков прибыла опытная охрана: командиры и стрелки. Не только люди, но и многие сооружения — большой клуб, бараки, кое-какая техника, то есть «живой и мертвый инвентарь» были перевезены с Белбалтлага и Темников.

Вскоре Дмитлаг стал самым грандиозным по своим масштабам исправительно-трудовым учреждением в системе ГУЛага. К тридцать третьему году население Дмитлага настолько разрослось, что начальство буквально сбилось со счета. Пришлось устраивать перепись населения, запретив на сутки любые передвижения по территории стройки-гиганта.

Состав заключенных «каналармейцев», как их стали теперь величать, был довольно пестрым. Больше всего здесь числилось «тридцатипятников», осужденных по тридцать пятой уголовной статье УК РСФСР и по статье

«семь-восемь», известной в народе еще как статья «о трех колосках»<sup>1</sup>.

Но немало здесь сидело осужденных и по политической «58-й». Среди заключенных были «социально опасные» и «социально вредные элементы». Некоторые заключенные работали по специальности, но большинство зеков и зечек было занято на тяжелых общих работах.

Одновременно с каналом заключенные строили два закрытых аэродрома в Тушине и под Подольском, а в самой Москве — спортивный комплекс «Динамо», Северный и Южный речные порты, а также жилые дома для начальственного состава ОГПУ-НКВД. Все это были отделения и лагерные пункты Дмитлага.

До тридцать пятого года техники на строительстве почти не было. Зачем? Людей хватало. Средний срок выработки человеческого ресурса составлял примерно полгода. Вручную лопатами вынимали миллионы кубометров грунта. Заключенных, вывозивших на тачках землю из котлованов, было такое количество, что приходилось ставить регулировщиков.

Нормы выдачи хлеба и других продуктов напрямую зависели от выполнения задания, которое большинство голодных ослабленных людей, особенно, из интеллигентов, не имевших навыка к тяжелому физическому труду, не в состоянии были выполнить.

Несмотря на предупреждения и запреты, заключенные собирали на помойках протухшие отходы пищи, ели ядовитые травы и корешки и умирали в страшных мучениях. Каждое утро грабарки, полные трупов, двигались в сторону леса и перелесков, умерших хоронили в общих траншеях, слегка присыпав землей — до следующего захоронения. И так — вдоль всего канала.

---

<sup>1</sup> Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепление социалистической собственности» предусматривало за нарушение расстрел, а при смягчающих обстоятельствах — десять лет лишения свободы: амнистии не полагалось.

По словам санитаря лагеря, случалось, хоронили еще живых, освобождая место в больничке для тех, кто мог бы выжить; доходягам какая разница: не сегодня-завтра все равно помрут. Если происходили аварии, на спасение сооружений бросали, конечно, заключенных. Но их самих никто и не думал спасать.

Например, когда прорвало плотину, в ледяную воду для аварийных работ загнали несколько тысяч заключенных. Назад не выбрался никто. Бывало, что обессиленные люди, потеряв равновесие, падали вместе с тачками с огромной высоты на дно котлована. Тогда они там и оставались, погрузившись в вязкий бетон.

Впоследствии при ремонтных работах нередко находили скелеты, замурованные в бетон — памятники жестокосердной эпохи.

Нередки бывали случаи побегов. Бежавших почти всегда отлавливали и наказывали: их ждал либо новый срок, либо расстрел.

«На казнь возили каждую ночь, — рассказывал шофер дмитлаговской автобазы. — Расстреливали в лесу и на северной окраине Дмитрова. У них это называлось „повезти на шлепку”»<sup>1</sup>.

Сначала планировали сдать канал к тридцать четвертому году, но вскоре стало ясно, что эта дата нереальна и был назначен новый срок — первое мая тридцать седьмого года...

Однако не все жили в таких условиях, о которых сказано выше. Для некоторой (незначительной!) части зеков делались исключения, и связаны они были с начальником Дмитлага Семеном Фириним.

Старший майор госбезопасности Семен Григорьевич Фирин-Пупко появился на строительстве канала в сентябре тридцать третьего года. Имея двухклассное образование, он, тем не менее, знал шесть языков, был начитан, сам неплохо писал, разбирался в искусстве.

---

<sup>1</sup> Федоров Н. «Была ли тачка у министра?...» Очерки о строителях канала Москва–Волга. — Дмитров. СПАС, 1997.

Он прибыл на стройку героем Белбалтлага. Молва о нем шла впереди него. Легенды и байки среди заключенных, особенно «тридцатипятников»<sup>1</sup>, не умолкали до самой трагической развязки.

Преступный элемент слушался его беспрекословно и доверительно называл «Батя». Фирин не скрывал своих симпатий к рецидивистам; но он не избегал и осужденных по 58-й статье, приближая к себе одаренных и нужных для дела людей.

Дмитлаговская интеллигенция, связанная с Фириним особыми отношениями в сфере искусства и литературы, также испытывала к нему что-то похожее на любовь.

«Когда приехал Фирин, все были очарованы им... Фирина я считала идеалом чекиста-коммуниста», — писала в собственноручных показаниях тридцать седьмого года поэтесса, на стройке бригадир скальщиц, ударница Лидия (или Лада) Могиланская<sup>2</sup>.

Две зечки — поэтесса Могиланская и скульптор Левицкая, условно досрочно освобожденные из Белбалтлага, буквально рвались в Дмитлаг к Фирину и не успокоились, пока он не нашел для них рабочие места. Обе арестованы «по делу Фирина» и расстреляны.

«Фирин — это горный орел» — любил повторять зек из Тбилиси Сазонисий Чачибая. Бывший уголовник в лагере, по рекомендации Фирина, занимал серьезную должность: был начальником коммунально-бытового отдела всего Дмитлага.

Всеобщее обожание доходило до того, что зеки выкалывали татуировки с портретом или именем Семена Фирина, агитбригады слагали о нем песни, поэты не жалели восторженных слов. Любимой песней, почти гимном, стала для всех «Боевая Фиринская». Ее автор Николай Жигульский сразу вошел в число приближенных.

---

<sup>1</sup> «Тридцатипятники» — уголовники, осужденные по 35 ст. УК РСФСР, подлежащие «перековке», т.е. исправлению честным трудом.

<sup>2</sup> Федоров Н. Двигатель «перековки». Начальник Дмитлага С. Г. Фирин / Книга памяти жертв политических репрессий. Бутовский полигон. 1937–1938. В 8-ми вып. — М.: Изд. «Альзо», 2003. Вып. 7.

Сохранилась фотография: Париж, двадцать второй год. Фирин снят с женой, Софьей Александровной Залесской. Она была курьером связи советской разведки, в двадцать первом—двадцать втором годах — резидентом в Кракове. Супруги сняты на фоне русской церкви в Париже вместе с другими сотрудниками разведки.

В годы службы в Разведупре за «беспощадную борьбу с врагами революции» его наградили орденом «Красного Знамени», боевым оружием Реввоенсовета и золотыми часами.

Но в тридцатом году Фирин был раскрыт Бельгийской контрразведкой; его заключили в тюрьму, из которой он вскоре совершил побег и каким-то непостижимым образом добрался до Москвы. Как повествует лагерная байка, по прибытии в Москву он сразу же очутился в кабинете Ягоды, откуда вышел с повышением в звании и новым назначением по службе.

С тридцать первого года он служил в особом отделе ОГПУ, а затем был назначен начальником Белбалтлага; по окончании строительства канала награжден орденом Ленина.

На Белбалтлаге с присущей ему горячностью он увлекся так называемой «перековкой» уголовников, «воспитанием в них советского человека», как он сам выражался. Став затем начальником Дмитлага, Семен Григорьевич продолжил свою миссию по усовершенствованию человека в духе времени. При нем для подростков и неграмотных взрослых в лагере работали школы ликбеза, были организованы разные профессиональные курсы, где преподавали заключенные, в том числе, профессора высших учебных заведений.

Лучшие умы и творческие силы были тем или иным образом стянуты на строительство канала Москва–Волга. Он считал, что все виды искусства и литературы обязаны служить «великой стройке пятилетки», к которой он относился с такой ревностью, что иногда это даже вредило и делу, и людям.

Так, соревнуясь с начальником Мосводостроя Коганом, он мог загнать людей до полусмерти, стараясь переплюнуть по показателям своего соперника.

Но люди — вот удивительное дело! — все прощали ему. Будучи не только начальником Дмитлага, но и заместителем началь-

ника всего ГУЛага, Семен Фирин обладал колоссальной властью и имел возможность не только собирать вокруг себя местные таланты, но и «выписывать» их из самых дальних лагерей.

По его требованию по всем лагерям и ссылкам разыскивали ценных специалистов — от техников до профессоров, известных и почитаемых порой во всем ученом мире. В числе его подопечных было много и самых простых людей: сапожник, мельник, официантка, фельдшера, телефонистки, священник с высшим академическим образованием, береговой шкипер.

Людей, хорошо показавших себя в деле, ставил на руководящие должности, не придавая значения, осуждены они по уголовной или политической статье. Так, ломового извозчика Шапошникова он поставил руководителем отряда, осужденную по уголовной статье Моржалову сделал начальником женского городка первого комендантского участка, поменял многих прорабов, сотников, бухгалтеров; слесарю, осужденному по статье «за колоски», доверил руководство бригадой.

Для пропаганды идеи «великой стройки», по требованию Фирина, были этапированы из Сибири молодой литератор Лев Нитобург, член Союза писателей, и талантливый журналист Роман Тихомиров из Электростали, доставлен детский поэт Давид Виленский, осужденный по уголовной статье и ставший секретарем журнала «На штурм трассы».

Кстати, писатели и другие деятели искусства были поселены не в лагерных бараках, а в самом Дмитрове, на квартирах; Виленский, например, жил на улице Чекистской, где преимущественно жили сотрудники ОГПУ. Удивительно, но эта улица сохранила свое название до наших дней. И сохранились деревянные двухэтажные дома, в которых жили в те годы. Они были перевезены с Белбалтлага.

С Беломорканала Фирин перевел всю свою Центральную агитбригаду во главе с известным в то время театральным режиссером-авангардистом Игорем Терентьевым.

При Управлении Дмитлага работал драматический театр, оркестр народных инструментов и струнный оркестр, в состав которых входили отбывавшие срок профессиональные музыканты. Дмитлаговцы концертировали в лучших залах Мо-



сквы — вплоть до зала имени Чайковского и Большого зала Московской консерватории.

Каждый район стремился иметь свои коллективы, не хуже, чем у соседей. Проводились всевозможные конкурсы, фестивали. Для сугубого взбадривания по всей трассе играли небольшие духовые оркестры — по двенадцать–шестнадцать часов подряд, зимой и летом. Не все выдерживали такой режим, некоторые падали замертво прямо на рабочем месте, с музыкальным инструментом в руках.

Всю культурную работу фактически возглавлял сам начальник. По его же инициативе была создана при Управлении Центральная художественная мастерская. Она располагалась в монастыре, в помещении Борисоглебского собора — как раз напротив Третьего отдела, куда по вечерам свозили со всего Дмитлага «провинившихся». «Наутро, — вспоминал один из водителей, доставлявший туда людей, — многие из них были как мертвые, а другие бесследно исчезали»<sup>1</sup>.

Художественная мастерская выполняла огромный объем работ. Художники — либо заключенные, либо досрочно освобожденные — сутками напролет рисовали карикатуры, плакаты, лозунги, которые во множестве тиражировали и отправляли по всем районам стройки, оформляли объекты на трассе, участвовали в выставках, в том числе и больших московских.

Часто приходилось рисовать с натуры передовиков производства — для досок почета, а к праздникам — писать портреты вождей. Создавали и большие картины маслом. Особенно ценились многофигурные композиции, изображавшие приезд на строительство канала товарища Сталина и членов правительства, наркома Ягоды, знаменитых советских и иностранных писателей.

По поводу одного своего подобного произведения художник Константин Соболевский сообщал жене в письме: «Сейчас пишу картину «Слет ударников», куда входит не одна сотня народа — страх. Кстати, выходит лучше многого, что я сделал».

---

<sup>1</sup> Федоров Н. «Была ли тачка у министра?..» Очерки о строителях канала Москва–Волга. — Дмитров. СПАС, 1997.

С тридцать шестого года художественную мастерскую возглавил художник Глеб Кун. Его с женой вместе с их общей на двоих 58-й статьей перевел в Дмитлаг все тот же Фирин. Нина, жена Глеба Куна, очень красивая молодая женщина, была балериной и радовала начальство и избранную публику своим участием в концертах, а еще она преподавала классический танец участникам агитбригады и всем желающим... Оба, муж и жена, расстреляны «по делу Фирина».

В Дмитлаге выходило более пятидесяти газет и журналов. Самыми массовыми были газеты «Перековка» и «Москва–Волга», пестревшие специфическими заголовками, вроде: «Потопим свое прошлое на дне канала», или же: «Сомкнутым строем — в атаку на Истру!»

Из журналов ведущим был литературно-художественный журнал «На штурм трассы». Главным редактором журнала Фирин назначил себя. Помимо упомянутых Нитобурга и Тихомирова, литературную работу выполняли еще Логинов и Жигульский. Жигульский и Могиланская, между прочим, будучи строителями канала, были приняты кандидатами в члены Союза писателей СССР.

Литературная жизнь Дмитлага дошла до того, что члены редколлегий стали заседать на даче у Фирина, стоявшей в глубине городского парка. Его жена, Софья Александровна, на скорую руку организовывала чаепитие, Лада Могиланская, которую начальник ставил выше всех дмитлаговских поэтов, читала свои новые стихи. Все это напоминало уже какой-то литературный дореволюционный салон, а не лагерь для заключенных.

Поэтесса Лидия (Лада) Могиланская, дочь украинского поэта Михаила Могиланского, вызвала на стройку своего брата Дмитрия, тоже поэта<sup>1</sup>, которого Фирин устроил литературным сотрудником в газету «Москва–Волга».

---

<sup>1</sup> Семья украинского писателя Михаила Могиланского жестоко пострадала в годы репрессий: дочь Елена была выслана на пять лет в Красноярский край; дочь Лидия (Лада), поэтесса, расстреляна по делу С. Фирина в Москве, сын Дмитрий (псевдоним Тась) расстрелян на Бутовском полигоне. Сам Михаил Могиланский также был арестован. — Л. Г.

В тридцать пятом году Дмитрий вернулся в Харьков, но через два года, по настойчивому приглашению сестры, он снова приехал в Дмитров и, в качестве корреспондента от украинской газеты, принял участие в торжественном открытии канала.

Вскоре после начала навигации Лидия Могилянская была арестована и расстреляна. Дмитрия арестовали через полгода в Харькове и доставили в город Дмитров, где «с пристрастием» допрашивали в Третьем отделении. Во время очередной прогулки он отошел якобы по нужде и в тюремной уборной «повесился на полотенце, но был замечен и снят», — так написано в рапорте о «происшествии»<sup>1</sup>.

С помощью тюремных докторов поэта вытащили с того света, чтобы через десять дней расстрелять на Бутовском полигоне. Дмитрий Могилянский, кандидат в члены Союза писателей Украины, не проходил «по делу Фирина», но был арестован и расстрелян именно из-за него, хотя официально обвинялся в «активной контрреволюционной работе на Украине».

И вот «стройка века» подошла к завершению. Все с нетерпением ждали праздничного открытия канала, намеченного на Первое мая, награждений, обещанного освобождения или сокращения сроков.

О том, что происходило перед праздником и вскоре после него рассказывает очевидец событий:

*«Через несколько дней мы встречали в Дмитрове Первое мая. Хорошо запомнились мне эти дни. Как всегда, накануне в клубе проходило торжественное собрание<sup>2</sup>. В президиуме, на сцене, украшенной огромными букетами живых цветов, сидело все чекистское руководство во главе с начальником Управления Фириным и начальником полтуправления Пузицким<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Из рапорта начальнику 10-го отделения 3-го отдела (Федоров Н. Детище бесклассового общества / Книга памяти жертв политических репрессий. Бутовский полигон. 1937–1938. — М.: Изд. «Альзо», 2002. Вып. 6. С. 33–34.

<sup>2</sup> Собрание могло происходить 26 или 27 апреля, т. к. 28-го Фирин и другие чекисты из президиума были уже арестованы.

<sup>3</sup> Пузицкий Сергей Васильевич является одним из создателей советской разведки и контрразведки. Принимал участие в разработке и проведении операций «Трест» и «Синдикат-2», признанных классикой

*Грудь каждого из чекистов соперничала с грудью соседа по количеству орденов... Всего в президиуме сидело человек двадцать. Словом, зрелище было внушительным.*

*После торжественной части был дан великолепный концерт силами лучших московских артистов. Огромный зал клуба был переполнен. Перед началом концерта Пузицкий, обращаясь к присутствующим, просил, чтобы завтра утром, также дружно, все без опоздания вышли на демонстрацию.*

*Просить и не нужно было. Задолго до назначенного часа труженики Управления явились на демонстрацию. Каково же было наше удивление, когда мы увидели на трибуне одинокую фигуру человека в штатском. И не увидели ни одной знакомой фигуры в форме. Тут же по рядам демонстрантов пополз слух: «Ночью все руководство арестовано и увезено в Москву». В дальнейшем этот слух подтвердился. Весь вчерашний президиум исчез навсегда. К сожалению, вместе с ним исчезли, а затем и погибли многие, многие другие работники Управления»<sup>1</sup>...*

*«Когда третьего мая мы пришли на работу, — продолжает очевидец, работавший в архитектурной мастерской канала, — Управление выглядело странно. Окна в кабинетах начальства были распахнуты, по коридорам гулял ветер. Все не арестованные начальники среднего звена имели растерянный вид и не знали, с чего начинать.*

*По логике мышления тех лет нужно было начать с митинга, осуждающего «изменников». Но, к счастью, человеческая порядочность восторжествовала и этого не произошло.*

*Проходя в свою рабочую комнату, я заглянул одним глазом в приоткрытую дверь кабинета главного архитектора канала Москва–Волга Фридлянда.*

*Для нас, рядовых работников, этот кабинет всегда был запретным. Сейчас в нем все было кверху дном. В открытые окна*

---

контрразведывательного искусства. В связи с чисткой в органах РУ РККА был переведен на строительство канала Москва–Волга. По обвинению в «террористической деятельности и шпионаже» 20.06.1937 г. расстрелян, кремирован в Донском крематории. Реабилитирован в 1956 г.

<sup>1</sup> Комаровский Алексей. Воспоминания очевидца. Дмитлаг. 1936–1937 гг. Рукопись. — Л. Г.

*дул ветер и раскачивал огромный макет канала... С длинного лакированного стола была наполовину сдернута скатерть...»<sup>1</sup>*

Дмитлаговцев больше всего поразил арест Фирипа, чья кипучая деятельность была залогом успешного и своевременного окончания грандиозного строительства. Впоследствии, однако, вспомнили, что дней за двадцать до ареста Фирин стал как бы сам не свой. Обычно такой жизнерадостный и активный, он вдруг отошел от дел, не занимался своей любимой «перековкой», не принимал писателей и журналистов, спешивших к нему ввиду приближавшегося торжества. Все дружно решили, что тот запил, хотя он этим недугом никогда не страдал. Но ведь все когда-нибудь случается в первый раз.

На самом деле, бывший разведчик и опытный чекист он прекрасно понимал, что ждет его после ареста Ягоды. Правда, Семен Григорьевич делал какие-то слабые попытки защититься: по его приказу якобы был приведен в состояние боевой готовности отдельный дивизион охраны, которым командовал его друг по гражданской войне Кравцов. Возможно также, что это выдумки следователей, усугублявшие вину обвиняемого.

После его ареста и высшего начальства начались массовые аресты дмитлаговцев. Водителей автобазы подняли по тревоге и на четырнадцати машинах они беспрерывно принялись возить арестованных в Москву.

Причем водителям было приказано: «нигде не останавливаться, на сигналы не реагировать».

Возили и днем, и ночью. Даже в день открытия навигации, пятнадцатого июля, выхватывали из празднично одетой толпы некоторых людей и куда-то уводили.

Начальников районов, спустившихся с теплохода на берег, чтобы посмотреть, как заполняется водой камера шлюза, у всех на глазах пригласили сесть в машины — больше их никто не видел. Тех, кто понимал, что случилось, поражала «открытая наглость» происшедшего<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Комаровский Алексей. Воспоминания очевидца. Дмитлаг. 1936–1937 г. Рукопись. 1985–1986.

<sup>2</sup> Там же.

Третий отдел Дмитлага был почти полностью истреблен. Не пощадили и жену Фирина. В тридцать третьем году она была награждена орденом Красного Знамени «за исключительные подвиги, личное героичество и мужество». В тридцать седьмом расстреляна — через неделю после расстрела мужа<sup>1</sup>...

Самое удивительное, что всем арестованным «по делу Фирина» инкриминировалось участие в «контрреволюционной террористической организации», в то время, как самого Фирина обвиняли в другом: предательстве, сдаче сети резидентуры в ряде европейских стран и работе на иностранные разведки десятилетней давности.

О «контрреволюционной террористической организации», которой он якобы руководил в Дмитлаге, в его деле нет ни слова. Следствие не сочло нужным привести дела хоть в какое-то соответствие друг с другом. А надзирающие инстанции не сочли нужным заметить это несоответствие.

Тем временем, как было обещано, за «ударный труд» последовали награды и немалые; одних только освобожденных от наказания оказалось по спискам пятьдесят пять тысяч человек. Но это были, увы, одни уголовники, «58-ю» принципиально не освобождали.

Напротив. Аресты в Дмитлаге продолжались и продолжались — вплоть до снятия Ежова в ноябре тридцать восьмого года.

За это время уничтожили еще несколько тысяч ни в чем неповинных людей: высококвалифицированных специалистов, крестьян, бывших царских морских офицеров, воздухоплателей, священников и многих, многих других. Эти люди уже не имели отношения к «делу Фирина», их расстреливали по другим обвинениям и закапывали во рвах на Бутовском полигоне...

После майских арестов тридцать седьмого года начальником Дмитлага был назначен заместитель Ежова и началь-

---

<sup>1</sup> Фирин Семен Григорьевч расстрелян и кремирован в Донском 14 августа 1937 г. Его жена, Залесская Софья Александровна — 22 августа того же года. — Л. Г.

ник ГУЛАГа Матвей Давыдович Берман. Но и он продержался недолго. Вскоре после ареста Ежова Берман был арестован и расстрелян.

Из всех высших чинов, возглавлявших Дмитлаг, выжил один только Успенский; он пережил и Фирина, и Бермана, и Ежова, и даже Берию. Сосланный в двадцатых годах на Соловки за убийство отца-священника, он очень скоро занял в Соловецком лагере особого назначения, а затем в Белбалтлаге и Дмитлаге руководящие должности. Будучи сыном священника, он почему-то с особым рвением терзал священнослужителей и, один из немногих, благополучно дожил до девяностых годов.

Семен Фирин был реабилитирован в пятьдесят шестом году. «Все показания, — говорится в заключении Военной коллегии, — сфальсифицированы. Работа Фирина в Главном разведывательном управлении оцнивается высоко». Была реабилитирована жена Фирина и все двести восемнадцать человек, проходившие «по делу Фирина» в тридцать седьмом году...

При жизни Сталина — и Беломорско-Балтийский канал, и канал «Москва-Волга» носили его имя. Обращаясь к вдохновителю «великих строек века», поэт Анатолий Клещенко<sup>1</sup>, проведший пятнадцать лет в сталинских лагерях и ссылках, писал:

*...Сти спокойно, мы — по каналам  
и по трассам легли навалом,  
рук не выпростать из земли.*

---

<sup>1</sup> Клещенко Анатолий Дмитриевич (1921–1974), поэт, прозаик. Жил в Ленинграде. В феврале 1941 г. арестован по доносу. По сути, пострадал лишь за то, что увлекался поэзией запрещенных советской властью поэтов — Есенина, Клюева, Мандельштама, Гумилева. С 1941 по 1956 г. находился в лагерях на Северном Урале, потом в Красноярском крае. В 1956 г. вернулся в Ленинград. В 1957 г. реабилитирован. Автор нескольких поэтических сборников, сборников рассказов и повестей. Последние годы жизни провел на Камчатке, где работал охотоведом, писал стихи. После смерти в 1974 г. тело поэта перевезли в Ленинград и похоронили на кладбище пос. Комарово, поблизости от могилы Анны Ахматовой. — Л. Г.

*О тебе вспомнят наши дети.  
Мы за славой твоей стоим,  
раз каналы и трассы эти  
будут именем звать твоим.*

В сорок седьмом году ко дню 800-летнего юбилея Москвы один из каналов был все же переименован в канал имени Москвы. А в начале шестидесятых годов на берегу Московского моря был взорван символ эпохи — гигантский монумент вождю.

Сначала отвалилась голова товарища Сталина весом в двадцать две тонны и упала, глубоко уйдя в землю. Глаза деспота устремились в небо.

Некоторое время Иосиф Виссарионович простоял обезглавленным. Понадобилось еще более месяца саперных работ, чтобы довершить начатое — превратить многотонный монумент в груды гранитных обломков...

### ***Глеб Бокий и страна богов Шамбала***

Дом на углу Большой Лубянки и Фуркасовского переулка был выстроен по проекту архитектора Фомина, того самого, который принимал участие в конкурсе на создание проекта крематория в Петрограде в двадцатом году и получил вторую премию.

Этот дом на Лубянке был возведен в двадцать восьмом году. Он строился как жилой дом спортивного общества «Динамо» — предмета заботы, гордости и соперничества сотрудников служб госбезопасности.

Запроектирован был большой гастроном на первом этаже. Первоначально предназначенный «для своих», гастроном стал со временем доступен народу и по сей день радуется нарядами интерьерными и изобилием товаров.

Клуб — с просторными вестибюлями и парадной лестницей, отделанной разноцветным мрамором и застеленной красным ковром, — функционирует и теперь.

Официальная и служебная часть дома через башню соединялась с жилыми квартирами, которые очень скоро стали заселяться совсем не динамовцами, а сотрудниками орга-



нов безопасности и другими гражданами, иногда не имеющими отношения к соответствующим органам, а порой даже и не отечественного происхождения. Вскоре дом, расположенный против Лубянки — второй, как и следовало ожидать, полностью перешел в ведомство ОГПУ — НКВД.

В интересующие нас годы здесь также производились аресты, причем, арестованных не нужно было никуда отвозить; выведя из парадного, их просто переводили под конвоем через мостовую, и они навсегда исчезали во внутренних дворах Лубянской тюрьмы.

Сколько всего их было арестовано, трудно сказать, но на сегодняшний день известны имена двенадцати человек из этого дома, которых расстреляли и захоронили в разных местах: на Ваганьковском кладбище, в Бутове, на территории «Коммунарки»...

В этом же доме в квартире № 60 жил известный чекист, начальник секретно-шифровального отдела ГУГБ НКВД СССР, комиссар госбезопасности третьего ранга Глеб Иванович Бокий.

Пока корабль «Глеб Бокий» — в недавнем прошлом «Святой Савватий» — с прицепом-баржей «Клара Цеткин» бороздили воды Белого моря, в невыносимых условиях доставляя заключенных на Соловки, Глеб Иванович исполнял самые разнообразные и весьма интересные обязанности в Москве и Подмосковье.

На Соловках он бывал редко и руководил лагерной жизнью больше издалека. Тем не менее, он стал одним из самых активных создателей ГУЛага. Но лагерники не забывали его, и, имея постоянно перед глазами флагман соловецкого флота с его именем, распевали:

*Нас загнали в трюм глубокий  
Мы плывём на «Глебе Бокий».*

Очевидцы описывали его: «Это высокий худой человек... Его манеры в основном производят мрачное впечатление, взгляд острый, пронзительный. Он всегда одет в военную форму. Это типичный непреклонный коммунист, прекрасно обра-

зованный, и с элементами жестокости в характере. Он живет в Москве, где исполняет некоторые обязанности в ГПУ, и только время от времени наведывается на Соловки»<sup>1</sup>.

Добавим от себя, что приезды его обычно бывали связаны или с внутренними лагерными разборками, или с посещением Соловков высокими лицами. Так, он неотлучно сопровождал «великого пролетарского писателя» Горького, когда тот приезжал на Соловки. Очарованный чекистом, Алексей Максимович писал: «Рядом со мной сидит человек из породы революционеров — большевиков старого несокрушимого закала. Я знаю почти всю его жизнь, всю работу, и мне хотелось бы сказать ему о моем уважении к людям его типа, о симпатии лично к нему...»<sup>2</sup>.

Правда, в жизни «типичного непреклонного коммуниста» с «несокрушимым закалом» встречались некоторые совсем не коммунистические сюжеты. В начале двадцатых годов в подмосковном поселке Кучино им была организована «Дачная коммуна», куда его подчиненные обязаны были вносить «десятину», а по выходным приезжать с женами и женщинами легкого поведения, ходить голыми и участвовать в оргиях.

Результатом этого были кровавые драки мужей, не вынесших подобного развлечения, и несколько попыток самоубийств у женщин.

Кроме того, под руководством Глеба Ивановича устраивались целые представления: над упившимися потешались, мазали краской или горчицей разные неподобающие части тела, имитировали казни, а потом, облачившись в конфискованные церковные одежды, отпевали и хоронили их<sup>3</sup>.

Конечно, он был не слишком оригинален в своих развлечениях: еще во времена Ивана Грозного такое бывало. И в совет-

---

<sup>1</sup> Мальсагов Созерко. Адские острова: Сов. тюрьма на Дальнем Севере. Пер. с англ. Ш. Яндиева. — Нальчик: Издат. центр «Эль-фа», 1996.

<sup>2</sup> Бродский Юрий. Двадцать лет Особого Назначения (из кн.: Горький М. «Соловки»). — М.: РОССПЭН, 2002.

<sup>3</sup> К середине двадцатых годов дачные оргии Бокия перестали быть тайной для окружающих — в Кучино жили многие представители литературно-театрального мира. От них Михаил Булгаков узнал о нравах «дачной коммуны», которые отчасти использовал в эпизоде Велико-го бала у сатаны в своем романе «Мастер и Маргарита». — Л. Г.

ское время у него имелись предшественники в хождении нагишом и в «свободной любви», весьма модной в послереволюционные годы. Однако в двадцать пятом году Глеб Иванович вдруг резко прервал эти забавы. Началась новая полоса в его жизни<sup>1</sup>...

В отличие от большинства чекистов, Бокий был отнюдь не пролетарского происхождения. Предки его принадлежали к древнему дворянскому роду, имя одного из них Федора Бокия-Печихвостского упоминается в переписке Ивана Грозного с князем Курбским.

Прадед Бокия был известный математик Остроградский, отец — действительный статский советник Иван Дмитриевич Бокий — автор известного учебника «Основания химии»; все гимназисты России по нему учились. Старший брат чекиста считается основоположником отечественного горного дела. Сестра, историк, много лет преподавала в Сорбонне.

Учась вслед за братом в Горном институте, Глеб Иванович стал членом «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», затем — членом РСДРП. В биографии его насчитывается двенадцать отсидок при царском режиме, включая полтора года одиночки.

Еще во времена подполья он стал непревзойденным мастером шифровального дела и конспирации. Талант криптографа сделал Бокия незаменимым сотрудником в органах безопасности.

После убийства Урицкого он некоторое время был председателем Петроградской ЧК, затем членом коллегии ОГПУ. Но главным его делом все же оставалась криптография.

Шифровальный отдел, руководимый Бокием, был образован в двадцать первом году. Он состоял вначале из трех человек, но со временем разросся до ста сотрудников по штату и восьмидесяти девяти секретных внештатных.

Заместителями Бокия стали Эйхман и Гопиус. Официальными задачами секретно-шифровального отдела являлись радиотехническая разведка, дешифровка телеграмм, разработка

---

<sup>1</sup> Епифанова Светлана (Северодвинск). «К 60-летию со дня смерти Михаила Афанасьевича Булгакова. Малоизвестные источники «Мастера и Маргариты»». — Л. Г.

шифров, радиоперехват, пеленгация и выявление вражеских шпионских передатчиков на территории СССР. Но вскоре к этим задачам прибавились и другие.

С ранней юности Бокий увлекался эзотерическими науками, восточными учениями и мистикой. Роль учителя в формировании столь необычного для большевика увлечения досталась Мокиевскому, известному в свое время врачу, теософу и магнетизеру.

После его кончины наставником Бокия в вопросах эзотерики стал ведущий сотрудник Всесоюзного института экспериментальной медицины Барченко. В конце концов, с «благословения» Держинского, а затем и Менжинского, Барченко стал раз в неделю читать лекции в Спецотделе ОГПУ. Чекисты сидели и по требованию Бокия послушно конспектировали в тетрадках не всегда вмещающиеся в их головах понятия.

Барченко рассказывал о неверном пути развития человечества, о тайных силах, которые могут помочь сойти с гибельного пути, о стране Шамбале, скрытой в Гималаях, где живут вечные мудрецы — хранители достижений древних забытых цивилизаций. Добраться до этих знаний — значит раскрыть тайны Вселенной и стать всемогущим.

Двенадцать лет жизни Бокий отдал созданной им секретной лаборатории нейроэнергетики, которая работала при его Спецотделе и финансировалась из средств ОГПУ-НКВД. Одной из прикладных, а, скорее, основных целей лаборатории было научиться телепатически читать мысли противника, снимать информацию с мозга посредством взгляда.

Он настолько увлекся идеями Барченко, что даже стал членом тайного общества, получившего название «Единое трудовое братство». Заседания тайного Братства проходили иногда на конспиративных квартирах, а иногда и в самой спецлаборатории на Малой Лубянке. Члены общества были связаны с академиком Бехтеревым, директором Института мозга, проводившем опыты по телепатии. В лаборатории Бокия были собраны ученые самых разных специальностей. Круг изучавшихся ими вопросов был чрезвычайно широк — от изобретения парапсихологических средств для шпионажа — до иссле-

дования солнечной активности, земного магнетизма и снежного человека. Некоторые высшие сановники с большим интересом относились к секретным исследованиям.

Деятельность спецлаборатории не была подконтрольна ни Ягоде, ни затем Ежову, а только самому Сталину. У многих это вызывало черную зависть и беспокойство. Но работа двигалась. Дело дошло до подготовки экспедиции в Гималаи — в поисках Шамбалы, на что были изысканы огромные по тем временам средства в размере шестисот тысяч рублей.

Правда, увлечение эзотерикой и мистикой не помешало Глебу Бокию подписать в тридцать первом году приговор тридцати трем московским тамплиерам, проходившим по делу как «контрреволюционная организация „Орден Света“».

Московским тамплиерам покровительствовал Енукидзе. С его помощью они получили для своих собраний и опытов помещение в подвалах дома № 166 по Малой Лубянке.

Этот подвал был выбран тамплиерами не случайно, так как находился неподалеку от подвалов ОГПУ, где, как они полагали, проливалась кровь расстреливаемых.

«Царство мрака и тьмы», которое образуется в местах убийств, по мнению тамплиеров, «должно быть разрушено токами света от магических операций в генераторе подвала самих тамплиеров...»

Особым совещанием коллегии ОГПУ в составе Мессинга, Бокия и прокурора Катаняна был вынесен приговор подсудимым: всем дали по три года; в отношении тех, кто активно помогал следствию, дело было прекращено; руководители же получили по пять лет Соловков.

Существует фотография, где у причала Управления Соловецкими лагерями особого назначения пришвартован флагман соловецкого флота «Глеб Бокий».

К сожалению, в тридцать первом году корабль утратил свое гордое имя и получил другое: «Слон».

Администрация лагеря посчитала недопустимыми постоянные шутки зеков, связанные с прежним названием корабля. То же случилось и с баржей-прицепом «Клара Цеткин»: соловецкие уголовники так переименовывали знаменитую революци-

онную фамилию, что решено было, ради приличия, именовать баржу просто «Клара». Надо сказать, что соловецкий «флагман», построенный в Финляндии в тысяча восемьсот восемьдесят первом году, был списан в двадцать втором как отслуживший срок. По всем правилам он должен был бы с этого года находиться или в музее, или на кладбище кораблей. Но корабль был передан Управлению лагерей в бессрочное, а, главное, безвозмездное пользование и вплоть до начала войны непрерывно перевозил грузы и до пятисот заключенных за один рейс. Нельзя только было появляться в Архангельске — порту приписки списанного судна.

Самого Глеба Бокия арестовали в мае тридцать седьмого года. Без каких-либо обвинений он был приговорен «в особом порядке» к высшей мере. Еще раньше был расстрелян Мессинг, с которым они судили «московских тамплиеров».

Исследователь судеб чекистов Парнов говорил: «Глеб Бокий положил начало парапсихологическим исследованиям в СССР. Дух его витает надо всем ужасным и удивительным, что было открыто, создано в секретных лабораториях НКВД, КГБ, Министерства обороны, и что в последние годы вырвалось на свободу, став доступным широким массам».

Считалось, что экспедиция, к которой с таким увлечением, даже страстью готовился Глеб Бокий со своими единомышленниками, в результате внутренних распрей и недоразумений не состоялась. Вероятно, именно так и должны были думать те, кому положено было так думать.

Но экспедиция, оказывается, все-таки состоялась. Это стало известно из одного, ставшего недавно доступным, секретного документа НКВД.

Если Ягода и Ежов, скрепя сердце, могли как-то терпеть, чтобы их не посвящали в тайны секретной лаборатории, состоявшей в структуре их же ведомства, то пришедший к власти Берия этого терпеть не собирался. По его требованию начальником пятого отдела ГУГБ НКВД СССР Деканозовым была составлена служебная записка. Записка была завизирована Берией и озаглавлена следующим образом:

«Об экспедиции в Лхасу (Тибет) 1925 года и об организации новой экспедиции в Тибет».

И далее:

«В соответствии с личным распоряжением Председателя ОГПУ тов. Дзержинского, в сентябре 1925 года в Тибет в Лхасу была организована экспедиция в количестве десять человек под руководством Якова Блюмкина, работавшего в научной лаборатории ОГПУ в Краскове. Лаборатория входила в состав спецотдела ОГПУ (Г. Бокия). Целью экспедиции являлось: уточнение географических маршрутов, поиск «города богов», с целью получения технологии ранее неизвестного (*как бы мы сказали теперь психотропного* — Л. Г.) оружия, а также рев.-агит. пропаганда, что, как следует из докладов Блюмкина, не нашло «соответствующей востребованности» среди властей Тибета»<sup>1</sup>.

Здесь придется сказать несколько слов о руководителе экспедиции, чекисте Якове Григорьевиче Блюмкине, снискавшего себе славу убийством германского посла Мирбаха.

Пожалуй, Блюмкина можно назвать одним из самых выдающихся в нашей истории авантюристов: диверсант, убийца, сказочный лгун, владевший, кроме европейских, пятью восточными языками, мастер перевоплощений, один из создателей советских разведслужб, опутавших весь Ближний и Средний Восток, он был любителем поэзии, близко общался с Есениным, Маяковским, Мариенгофом, Владиславом Ходасевичем.

Не без тайной гордости Николай Гумилев признавался, что «человек, застреливший императорского посла» Мирбаха, подошел пожать ему руку и поблагодарить за стихи.

Блюмкин был одним из учредителей полуанархической поэтической «Ассоциации вольнодумцев», завсегдаем круга имажинистов, сам пописывал прозу и стихи.

Из служебной записки Деканозова, написанной по докладу Блюмкина узнаем следующее: «...в 2014 году, по утверждению тибетских монахов, произойдет пятый Армагеддон — конец света»...

---

<sup>1</sup> Из служебной записки на имя Меркулова (для Берии) от начальника 5 отдела ГУЧБ НКВД СССР Деканозова. — Л. Г.

Как следует из отчетов Блюмкина, у тибетских монахов существует регламентированная определенная процедура «священного отбора» избранной части человечества, которую тибетцы должны будут спасти в подземных городах Антарктиды и в Тибете, соединенных каким-то шлейфом под землей между собой».

Наверное, эта практическая часть (на случай конца света) больше всего и интересовала чекистов. Трудно понять, Блюмкин писал свой отчет серьезно или, по своему обыкновению, валял дурака, тем более что проверить его было невозможно.

Но разведсеть на Востоке он, как и требовалось от него, разведчика-нелегала, мимоходом наладил, и если бы не тайная встреча с сыном Троцкого, а затем с самим Троцким, и секретные поручения от него, он благополучно работал бы и дальше: для «органов» он был бесценным сотрудником.

Но Блюмкин в своей дерзости зашел слишком далеко. По приказу Сталина его за тайные контакты с Троцким расстреляли. Есть сведения, что он тайно захоронен на Ваганьковском кладбище.

Вообще-то все сведения о Блюмкине крайне противоречивы и недостоверны, включая его анкетные данные, черты характера и даже саму внешность чекиста.

### ***Кремлевское «Дело»***

В середине марта восемнадцатого года в связи с решением перенести столицу в Москву встал вопрос об удобном и безопасном месте пребывания советского правительства в бывшей Первопрестольной.

Обсуждалось три варианта: Запасной (или Запасный) дворец у Красных ворот<sup>1</sup>, дворянский женский институт на

---

<sup>1</sup> Запасной дворец (вернее, Запасный), построенный на месте старого Житного двора у Красных ворот, был возведен при императрице Елизавете Петровне в 1741–1753 гг. для служб придворных продуктовых и вещевых припасов. В начале XX века был перестроен под «Институт московского дворянства для девиц благородного звания имени императора Александра III в память императрицы Екатерины II». В 1933–1936 годах



Божедомке и Московский Кремль. На заседании Совнаркома против последнего предложения, как это ни странно, были серьезные возражения...

Историк Николай Михайлович Карамзин называл Московский Кремль «местом величайших исторических воспоминаний». Но для москвичей Кремль с его древнейшими соборами, захоронениями государей и московских митрополитов был не только святая святых народной жизни, но и просто излюбленным местом прогулок.

Все ворота Кремля в дневное время были открыты, иди, куда хочешь, гуляй в Тайнинском саду, купайся в святом источнике, поднимайся на Ивана Великого, а на Пасху — трезвонь во все колокола.

Москвичи, люди домашние, и в Кремле привыкли чувствовать себя как дома. До вторжения сюда большевиков каждый мог, взяв бесплатный билет, в сопровождении кого-нибудь из кремлевской obsługi пройтись по всем внутренним хоромам Кремля и даже посетить царские дворцы, конечно, кроме личных покоев государей, если они в это время там находились. Москва — не Петербург. Здесь все было запросто.

И вот теперь шла речь, в случае размещения здесь советского правительства, не только о закрытии соборов, но и о прекращении свободного доступа в Кремль. Возражавшие против этого члены Совнаркома ссылались на возможное недовольство населения. К тому же, как последний довод, приводилось соображение, что не пристало правительству советской республики размещаться в резиденции царей. Прения были решительно прекращены председателем ВЦИК Яковом Свердловым:

«Несомненно, буржуазия и мещане поднимут вой — большевики, мол, оскверняют святыни, но нас это меньше всего должно беспокоить». Конечно, говоря его же словами: «Интересы пролетарской революции выше предрассудков»<sup>1</sup>.

---

здание было до неузнаваемости перестроено в конструктивистском стиле архитектором И. Фоминым. — Л. Г.

<sup>1</sup> Варварское отношение к памятникам истории и архитектуры было провозглашено публично и официально. За годы советской власти

Таким образом, местом пребывания правительства все-таки выбрали Кремль. Вопрос был закрыт.

В конце марта восемнадцатого года со всеми предосторожностями, в режиме особой секретности состоялся переезд правительства из Петрограда в Москву — вместе с охраной, состоявшей преимущественно из латышей, и петроградским комендантом Павлом Дмитриевичем Мальковым.

Сводной роте латышских красных стрелков, образованной при ВЦИК, доверено было охранять членов нового советского правительства и «самого Ленина».

Тогда же в восемнадцатом была сформирована комендатура Московского Кремля. Она подчинялась наркомату обороны, который в то время возглавлял Климент Ворошилов.

На посту коменданта Кремля Мальков оставался до лета двадцатого года, после чего по неизвестным причинам был уволен и отправлен на фронт.

До революции в Кремле жило около четырех тысяч человек, включая более тысячи монахов и монахинь кремлевских монастырей, особенно ненавистных коменданту из Петрограда. После переезда правительства в Москву бездомными людьми заселились в Кремле не только жилые бывшие царские корпуса, но и кремлевские башни, гауптвахты, соборы и даже колокольня Ивана Великого.

Какое-то время эти люди еще жили здесь, но потом были выселены. На освободившейся площади поместили первую тысячу «своих», а через полгода в Кремле было прописано свыше двух тысяч совслужащих. Кто именно жил за Кремлевской стеной, долгое время считалось государственной тайной<sup>1</sup>.

---

архитектурный ансамбль Московского Кремля пострадал больше, чем за всю его историю. Из пятидесяти четырех сооружений Кремля, стоявших внутри Кремлевских стен, в 1920–1930-х годах более половины — двадцать восемь зданий — были уничтожены. — Л. Г.

<sup>1</sup> Чуев Феликс. Сто сорок бесед с Молотовым (1991); Так говорил Каганович (1992).

«В Кремле, как и по всей Москве, — писал Лев Троцкий в своих воспоминаниях, — шла непрерывная борьба из-за квартир, которых не хватало»<sup>1</sup>.

Как и во всех московских домах, в Кремле имелись домовые книги. В январе девятнадцатого года Ленин прописался в квартире № 1 бывшего здания Сената. Рядом с Лениным и членами его семьи поселились: Сталин, Троцкий, Дзержинский, Свердлов, Аванесов, Молотов, Ворошилов, Калинин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томский, Цурюпа, Микоян, Луначарский, Клара Цеткин и некоторые другие, в том числе поэт Демьян Бедный.

Большой Кремлевский дворец начали переустраивать под проведение съездов Советов и конгрессов III Интернационала, в Золотой палате разместили кухню, в Грановитой общественную столовую. Малый Николаевский дворец был приспособлен под клуб работников кремлевских советских учреждений, в Екатерининской церкви Вознесенского монастыря решили устроить спортзал, в Чудовом — кремлевскую больницу. Оба монастыря вместе со всеми учреждениями и захоронениями вокруг снесли в двадцать девятом—тридцатом годах...

По тогдашней бедности пришлось воспользоваться царским гардеробом, хранящимся на складах Кремля. Вещи выдавали по ордерам некоторым членам правительства. В частности, Надежде Константиновне Крупской досталось что-то из царских шуб. Кремлевские умельцы вещь с ненавистного царского плеча основательно перешили, перекроили и сошло как нельзя лучше, не догадаешься<sup>2</sup>.

В числе красных латышских стрелков, служивших в охране первых лиц государства и выполнявших другие, не совсем ясные, но определенно карательные функции, как это ни странно, оказалось много художников. Не просто любителей, а очень хороших художников: Александр Древин, Роман Семашкевич, Густав Клуцис, Карл Вейдеман и другие. Поселив-

<sup>1</sup> Троцкий Л. Д. Воспоминания.

<sup>2</sup> Из рассказов Анны Сергеевны Аллилуевой писателю, председателю общества «Возвращение» С. С. Виленскому. — Л. Г.

шись в Кремле, они тотчас организовали художественную мастерскую и в том же восемнадцатом году устроили в Кремле первую выставку своих работ.

Как они умудрялись сочетать работу художников со службой карателей и охранников, уму непостижимо! На выставке они представили искусство новое, яркое, ошеломляющее. Абстрактные композиции, по мнению устроителей выставки, рассчитаны были на понимание нового многомиллионного зрителя. После первой выставки трех художников прямоком без экзаменов направили во ВХУТЕМАС — для получения профессионального образования.

Работа в кремлевской художественной мастерской кипела. Художники тогда не считали зазорным для себя рисовать плакаты, писать бесконечные лозунги. По поручению кремлевского начальства они с энтузиазмом занимались праздничным оформлением Кремля и Красной площади, проектировали новую «революционную» посуду, мебель, одежду и, конечно, представить не могли себе, что их ждет впереди...

Летом двадцать пятого года «по-большевистски», в недельный срок из Кремля были выселены все граждане, не требующие особой охраны. Тогда же сократили посещение Кремля экскурсантами, ввели особые разрешения на доступ в Оружейную палату, закрыли Большой Кремлевский дворец. Окончательно же для свободного посещения Кремль был закрыт летом двадцать седьмого года.

Кремлевские квартиры были не очень удобны для жизни. Отапливались они печами — центральное отопление провели только в двадцать седьмом, газ — в двадцать девятом году. Решено было поблизости от Кремля строить большой жилой комплекс для особо ценных людей и переселить всех туда.

В двадцать восьмом году приступили к строительству знаменитого Дома правительства — Дома на набережной — со всеми удобствами и необходимыми службами: магазинами, спецраспределителем, клубом, кинотеатром, столовой, детским садом и яслями, парикмахерской, сберкассой, почтой и так далее.

Но выселение из «закрытого Кремля» проходило крайне болезненно. Жильцы кремлевских квартир не хотели расставаться со своим исключительным статусом жителей Кремля. И часто, имея уже квартиру на Серафимовича, на улице Грановского<sup>1</sup> или Горького, они продолжали жить в неудобных, маленьких, темноватых комнатках в Кремле.

Все же принудительное выселение происходило, но продолжалось оно в течение многих лет. Последним, самым упорным жителем Кремля оказался Климент Ефремович Ворошилов. Он «съехал» только в шестьдесят втором году — уже при Хрущеве.

Были и другие причины, по которым выселяли кремлевских постояльцев. Например, в тридцать восьмом году с трудом удалось выдворить из Кремля Демьяна Бедного. Поэт частенько вел себя не лучшим образом: буянил, требовал улучшения жилищных условий, ссылаясь на то, что «отсутствие отдельного кабинета не позволяет ему работать на полную мощь». Кроме того, его постоянные семейные ссоры с рукоприкладством нарушали покой важных кремлевских соседей.

В двадцать пятом году разразился скандал в связи с опубликованием в газетах «Правда» и «Беднота» антирелигиозной поэмы Демьяна Бедного «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», написанной в издевательском по отношению

---

<sup>1</sup> С самого начала переселения советского правительства в Москву ответственные государственные работники поселялись в Домах Советов: Домом Советов №1 была гостиница «Националь», Домом Советов №2 — гостиница «Метрополь», Домом Советов №3 — здание бывшей Духовной семинарии на Садово-Каретной, Домом Советов №4 — гостиница «Петергоф» на углу Воздвиженки и Моховой, Домом Советов №5 — бывший доходный дом графа Шереметева на улице Грановского (д. 3), бывший доходный дом князя Куракина на углу Ленивки и набережной Москвы-реки, на Неглинке и Пречистенском бульваре, два дома на Знаменке, несколько домов на ул. Горького, для делегатов съездов — дом на Делегатской ул.; наконец, около двух десятков подобных зданий имелись в Кремле.

Квартиры были хорошо обставлены, снабжены казенными постельным бельем и посудой. Жилая площадь здесь была невелика, но выше средней по Москве — восемь кв. м. — Л. Г.

к Евангелию тоне. В те годы в Москве ходил по рукам стихотворный ответ на эту «поэму» под названием: «Послание евангелисту Демьяну», который приписывали Есенину.

Эти тексты, особенно второй, неоднократно встречаются в следственных делах арестованных в качестве вещдоков, подтверждающих антисоветскую сущность подследственного. К примеру, «В послании...» было такое четверостишие, написанное в адрес обласканного властями поэта:

*Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил,  
Ты не задел его своим пером нимало.  
Разбойник был, Иуда был.  
Тебя лишь только не хватало.*

В год разрушения Храма Христа Спасителя в Москве — Демьян разразился поэмой со своего Кремлевского холма:

*От колокольного трезвона  
Уже не пухнет голова,  
И у церковного амвона  
Уж не карячится Москва.  
Дела совсем уже не бойки  
У колокольной каланчи,  
Идут на чудо-новостройки  
Святых развалин кирпичи...*

И все же не стихи и не шумные пьянки стали причиной выселения Демьяна из Кремля. Вождю стали известны высказывания поэта в пьяном виде в адрес некоторых уважаемых членов правительства и даже в адрес его самого — Иосифа Виссарионовича.

Последней каплей терпения вождя, как рассказывают очевидцы, стало оперное либретто «Богатыри», где Демьян Бедный, перейдя все границы приличия, издевался над крещением Руси. (Странные все-таки эти люди — вожди с семинарским образованием! Не поймешь, что же им в конце концов нужно от своих записных «придворных» сочинителей!)

Запись в книге кремлевской прописки по поводу выселения Демьяна гласила: «Убыл в Москву».

Впоследствии Демьян Бедный на каждом шагу славословил вождя, но ничто уже не помогало. Забегая вперед, скажем, что лишь в пятьдесят шестом году Демьян Бедный был по-смертно восстановлен в правах виднейшего советского поэта и члена КПСС...

Сталин менял квартиры в Кремле несколько раз. Сразу после самоубийства жены Надежды Аллилуевой он переехал в Потешный дворец, потом перебрался в Первый Кремлевский корпус. Кстати, стрелялись в Кремле не раз. В двадцатые годы пытался застрелиться сын Сталина Яков, в тридцатых застрелился комендант Кремля, кадровый чекист Федор Рогов, в сороковых — сын «всесоюзного старосты» Михаила Ивановича Калинина.

К лету тридцать пятого года в Кремле оставалось сто две семьи, не считая охраняемых лиц, персонала и военнослужащих, которых насчитывалось в несколько раз больше. А тут подоспело так называемое «Кремлевское дело», улучшившее жилищный вопрос в Кремле.

«Кремлевское дело» было состряпано после убийства Кирова — в начале тридцать пятого года. По нему проходило сто десять человек — в первую очередь, комендант Кремля Рудольф Августович Петерсон, из латышских стрелков, служивший на своем нелегком посту в течение пятнадцати лет; он был награжден орденом Красного Знамени, а незадолго перед арестом — орденом Ленина.

Тогда же арестовали многих сотрудников комендатуры, некоторых совслужащих и военнослужащих, проживавших или работавших в Кремле. Среди арестованных были: уборщицы, швейцар, работники правительственной библиотеки и другие.

Арестованные обвинялись в том, что «при попустительстве секретаря ЦИК Енукидзе» готовили военный переворот в Кремле. Нарком Ягода, глазом не моргнув, докладывал на июньском пленуме ЦК ВКП(б), что кремлевские заговорщики под руководством Енукидзе готовились совершить «терракт с помощью ручных гранат в специальном кинозале в Кремле, а также путем опрыскивания ядами комнат или телефонных трубок членов правительства».

В деле тридцать пятого года никого, несмотря на самые суровые обвинения, к высшей мере наказания не приговорили. Всех сослали на десять лет, в основном, в Верхнеуральский политизолятор, славящийся самым суровым режимом, и в Ярославскую тюрьму особого назначения — тоже не подарок.

В числе отбывающих «наказание» в Верхнеуральской тюрьме были Зиновьев и Каменев; оба приговорены к десяти годам тюремного заключения: Зиновьев — по обвинению в руководстве «террористической организацией зиновьевцев», а Каменев — по «Кремлевскому делу» «о контрреволюционных группах в правительственной библиотеке и комендатуре Кремля». Летом оба были этапированы в Москву. Дальнейшее всем хорошо известно...

Вскоре после окончания следственного дела Кремлевскую комендатуру переподчинили: из наркомата обороны она перешла в наркомат внутренних дел и с тех пор оставалась в подчинении этого ведомства.

Но в тридцать седьмом году, как бы исправляя оплошности следствия, многих осужденных по «Кремлевскому делу», возвратили в Москву. Следствие возобновилось. Были также произведены новые многочисленные аресты в Управлении комендатуры и других службах Кремля.

Обвинение было то же, что и в прошлый раз — участие в «военном заговоре» и «террористической контрреволюционной организации в Кремле». На этот раз большинство из обвиняемых приговорили к расстрелу. Тех, что этапировали из тюрем, расстреляли первыми. В числе расстрелянных несколько кремлевских медиков: директор центральной Кремлевской поликлиники, врач-рентгенолог, личный врач дочери Молотова; расстреляли еще двух женщин из Кремлевской библиотеки.

Секретаря ЦИК ВКП(б) Енукидзе, несмотря на его «попустительство заговорщикам», не арестовали вместе с другими. Но на заседании июньского Пленума ЦК, в числе прочего, рассматривался вопрос «О служебном аппарате Секретариата ЦИК Союза ССР и товарище А. Енукидзе». Последовала резолюция: «За политическое и бытовое разложение... А. Енукидзе вывести из состава ЦК ВКП(б) и ис-



ключить из рядов ВКП(б)». Это было что-то неслыханное: опубликование факта о бытовом разложении столь крупного работника.

И все же не это послужило причиной ареста и расстрела, хотя по свидетельству современников, например, Марии Сванидзе, Енукидзе, действительно, не знал меры в сластолюбии, соблазняя хорошеньких несовершеннолетних девушек и даже маленьких девочек. Главное, он выступил против организации процесса над Зиновьевым и Каменевым, решении об их расстреле и открыто говорил об этом Сталину.

Кроме того, он досаждал ему еще тем, что постоянно хлопотал за кого-нибудь из арестованных, потому что все обращались к нему, и он никому не отказывал. Считая себя другом Сталина, он наивно полагал, что ему-то ничто не грозит и, говорят, разрыдался, как ребенок, когда его, по приказу Сталина, все-таки арестовали.

Енукидзе был обвинен в измене родине и шпионаже, а также в причастности к покушению на Жданова. По данным следствия, Енукидзе был также одной из главных фигур «заговора военных и вооруженного захвата Кремля». Для этой цели он якобы завербовал коменданта Кремля Петерсона. Кроме того, «было неопровержимо установлено», что именно Енукидзе еще в двадцать восьмом году завербовал для тех же целей Тухачевского. По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР Енукидзе расстреляли. Были расстреляны и другие обвиняемые.

Характерная деталь того времени: сразу после снятия с высокого поста Енукидзе, еще до осуждения, в его освободившуюся квартиру в Кремле въехал комиссар госбезопасности первого ранга, заместитель народного комиссара внутренних дел Яков Григорьевич Агранов<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Агранов Яков Саулович (1893–1938). В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД с 1919 г. С 1921 г. секретарь Малого Совнаркома и особоуполномоченный ВЧК, руководил расследованием обстоятельств Кронштадтского восстания, крестьянского восстания Антонова, дела «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева» и др. самых крупных дел. С 1922 г. начальник Особого бюро ОГПУ по административной высылке «антисоветских

Другую большую группу, в основном, военных расстреляли и доставили в Донской для кремации в день Красной армии в феврале тридцать девятого года. В этих двух группах был чуть ли не весь начальственный состав комендатуры Кремля — более тридцати человек. В числе расстрелянных были: комендант Большого Кремлевского Дворца Лукьянов, комендант Мавзолея Тренин, помощники и заместители комендантов, командир полка специального назначения, дивкомиссар — начальник политотдела, начальник охраны, командиры для поручений при правительственных квартирах, начальник секретного отдела, начальник особой гражданской разведки и так далее. Был уличен в террористических намерениях и «производитель санитарно-технических работ Кремля». Попросту говоря, водопроводчик Травкин.

Пока в течение двух лет шло следствие по «Кремлевскому делу», был арестован и расстрелян третий по счету комендант Кремля — Ткалун, украинец, назначенный на эту должность после снятия и ареста Петерсона. Следующий после него комендант Рогов, не дожидаясь ареста, застрелился.

Еще двадцать человек, начиная с начальника штаба Красного полка и кончая кремлевским киномехаником, были расстреляны и захоронены на спецобъекте «Коммунарка». В Бутове в тридцать восьмом году были расстреляны художники-латыши — бывшие «красные стрелки», жившие в послереволюционные годы в Кремле.

Занятые своим творчеством, они впоследствии совершенно отошли от политики, но политики их не забыли. Шестнадцать художников-латышей, среди которых были выдающиеся живописцы, графики, скульпторы — зарыты в погребаль-

---

элементов». С 1923 — заместитель начальника Секретного отдела ОГПУ, в 1929–1931 гг. — начальник Секретного отдела ОГПУ. «Курировал» В. Маяковского, Бориса Пильняка. В 1933 назначен заместителем председателя ОГПУ (Г. Ягоды), в 1934 — первым заместителем наркома внутренних дел (Г. Ягоды). Комиссар госбезопасности 1-го ранга, руководил работой всех оперативных отделов ГУГБ НКВД СССР. В 1935 г. Агранов руководил следствием по делу об убийстве С. М. Кирова. Именно Агранов готовил материалы для главных политических процессов 1930-х гг. — Л. Г.

ных рвах Бутовского полигона. Всего же в Бутове расстреляно около ста художников<sup>1</sup>.

Теперь уже никто не знает этого, но на память от расстрелянного коменданта Петерсона нам остались голубые ели, высаженные им вдоль кремлевской стены и внутри, на территории Кремля...

А работы расстрелянных художников, те, которые они успели сделать за свою короткую жизнь, можно увидеть теперь в Третьяковской галерее и в лучших музеях мира.

Ну, а первый комендант Кремля, застреливший и сжегший в бочке Фанни Каплан — или ту, которая была выдана за нее, Павел Дмитриевич Мальков, в тридцать шестом году был также арестован, но не расстрелян. Он провел семнадцать лет в тюрьмах и лагерях и вернулся таким же верным «большевиком-ленинцем», каким был до отбытия наказания.

Расстрелы среди кремлевской комендатуры продолжались и позже. Например, в конце января сорокового года, когда начались ежедневные, вернее, еженощные расстрелы «ежовской команды», был казнен начальник санитарного отдела Московского Кремля, военврач второго ранга Петр Маркович Солтанович.

В отличие от многих других, он жил не в Кремле, а вблизи лубянской цитадели — в небольшом старом доме № 6 по тихой Малой Лубянской улице. Он был лично знаком со многими известными чекистами, жившими по соседству. Но эта близость — и территориальная и дружеская — сослужила ему на этот раз плохую службу.

---

<sup>1</sup> В 1918 г. после переезда советского правительства в Москву в среде латышских стрелков большое значение придавалось культуре: музыке, театру, живописи. В Кремле в Девятом полку работали кружки художественной самодеятельности, в том числе, и живописи. На первой же выставке в Кремле было выставлено более ста картин пятнадцать художников — ныне известнейших во всем мире мастеров. В лучших московских залах выступал симфонический оркестр красных латышских стрелков, объединенный хор, из среды стрелков вышли первые латышские писатели и поэты. Почти все из них погибли в годы Большого террора. — Л. Г.

## НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Глеб Васильев

### «Я — ваш, больше, чем с небо!»<sup>1</sup>»

*Мы сидим в уютной маленькой квартире Глеба Казимировича и Галины Яковлевны Васильевых. Пьем чай, неспешно разговариваем. Старинные часы, подаренные деду, Аркадию Аркадиевичу Васильеву, сослуживцами Бежецкого завода в тысяча восемьсот девяносто девятом году, отсчитывают минуты.*

*Глеб Казимирович рассказывает:*

— Арестовали меня в ночь на тридцать первое октября сорок пятого года. Под следствием я пробыл на Лубянке до апреля сорок шестого года. Потом последовал суд, Бутырская тюрьма, пересылка, и, наконец, Печорлаг. Мне редкостно повезло — я сразу же попал на домостроительный лесокомбинат — огромное предприятие, выпускавшее сборные четырехквартирные дома. Нужны были квалифицированные специалисты: лесокомбинат насчитывал более трех тысяч единиц оборудования, работали в три смены.

Письма я писал на адрес маминой гимназической подруги. Они были обращены к моей маме, Наталье Аркадьевне Васильевой, и шли практически без ограничений в обе стороны, без заметной цензуры. Официально же письма из лагеря принимались два раза в месяц.

Являясь фактически руководителем всей механизации комбината, я жил в цехе, появляясь в бараке изредка. Мами-

---

<sup>1</sup> Беседа с Г.К. Васильевым была опубликована в историко-литературном альманахе «Соловецкое море». — Ред.

«Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

ны письма по прочтении сразу же уничтожал, сжигая в печке,— считал, что в этой обстановке им находиться не место. К счастью, мама сохранила мои письма, в которых я обращался ко многим своим друзьям.

Лагерные ужасы хотя и присутствовали в нашей жизни, но не попадали на страницы моих писем — я считал ненужным и нелепым делиться ими со своими близкими. Кроме того, я писал, когда был свободен от дневных забот, в сравнительно редкие моменты душевного успокоения. Письма написаны нашим семейным сленгом и абсолютно не рассчитаны на чтение их другими лицами, поэтому без расшифровки и комментариев остаются совсем непонятными. Я считал и считаю до сих пор, что сленг является единственным средством глубинного общения людей, и написал, в свое время, пространную «апологию сленга».

Дело в том, что блистательный афоризм Тютчева — «мысль изреченная есть ложь» — неприложим к сленгу. Он рождается в разговоре ситуативно, в облаке смысловых нюансов этого разговора. Мотивом таких, мгновенно возникающих слов и оборотов, которые отсылают подчас к очень замысловатому источнику, является желание дистанцироваться от окружающих. Другая задача сленга — табуирование расхожей лексики. Сленг становится как бы знаком: «Мы одной крови — ты и я».

Эти письма не могут служить адекватному восприятию советской пенитенциарной системы. Во-первых, потому что мне почти невероятно повезло — я оказался на крупнейшем производственном предприятии, и, хотя его возглавлял не директор, а начальник, он, тем не менее, должен был выполнять жесткий план и потому мирился со значительным количеством специалистов.

Во-вторых, я писал только тогда, когда чувствовал к тому душевную потребность, относительный покой, спад нервного напряжения и тому прочее. Ясно, что я не касался чудовищных для «свежего» человека сюжетов и сцен — умел исключать их из своего сознания.

Последнее мое письмо из лагеря начинается словами: «Вчера меня выгнали за ворота». Я остался работать в ла-

гере по вольному найму. Остался на полгода и заработал достаточно денег, чтобы поехать по стране. И после этого я по зову сердца отправился в Южный Казахстан. Мой старший дядя — брат мамы — Аркадий Аркадьевич Васильев был биолог. Он занимался интродукцией тонкорунных овец в казахские степи. Его расстреляли в Медвежьегорске в тридцать третьем году...

— *Арест был для Вас неожиданностью?*

— Я с детства знал, что посадят. Как может быть иначе, если я ненавидел все вокруг меня? Это нельзя было вечно скрывать. За что я мог благодарить это окружение? Дикари, готтентоты<sup>1</sup>. Вынужденные контакты с ними — это кошмар. А если говорить о конкретном событии — моем аресте, то за месяц я уже об этом точно знал. Посыпались подряд аресты друзей.

— *Вы были к этому готовы?*

— Абсолютно.

— *Вас это не пугало?*

— И смерть пугает. Но пока она не придет... Конечно, не сладко, но я был парень здоровый, умный. Мог управлять людьми, с которыми сталкивался. Мне было двадцать два года. Я был хорошим специалистом, много знал. И дело, и жизнь, и женщин, — схвативши, не отпущу. Вон, фотография моя, кулачищи — как у боксера хорошего.

— *В лагере существовал близкий для Вас круг общения?*

— Были друзья. Был человек, которого в письмах я называл Достойным. Это Алекс Попов, — так он значился в

---

<sup>1</sup> При поступлении в четвертый класс меня поразила классовая стигматизация учеников. Низшую прослойку мы называли «готтентоты» из-за невозможности проникнуть ни в язык, ни в мысль этих детей.

«Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

лагере, — латыш, профессиональный разведчик, двадцати пяти лет от роду. Огромного роста, с синими глазами в пушистых ресницах и персиковыми щеками. Фамилий у него было много. Имел пятнадцать лет срока. Работал в ОТК и почему-то оказался на общих работах по выкатке бревен на берегу.

Знал почти все европейские языки. Читал по-русски, смотрел в любую книгу, а также по-английски и по-французски. От него я узнал слова гимна Латвийского Сопrotивления: «Рига, Рига Сальве роза...» Мы были дружны. Скоро его угнали дальше на Север как долгосрочника. Он казался мне завидным образцом тела и духа. Бог старался, когда его делал.

Из друзей был еще Космист — Лев Глебович Мищенко — тончайший, интеллигентнейший человек. Он был физик, занимался космическими лучами. Но наш с ним *modus vivendi* не совпадал. Его утонченность для меня не годилась.

*— У Вас в жизни есть «ощущение пути»? Вы проследиваете метафизическую связь между поступлением в шестнадцать лет на мехмат МГУ, арестом через пять лет, увлечением лингвистикой в зрелом возрасте? Иначе говоря, Вы, как человек склонный к математическому анализу, могли бы обозначить цепочку причинно-следственной связи, повторяющихся закономерностей? Или судьба стучится в дверь, все планы рушатся, и не остается места для проявления личной воли?*

— Нет, не так. И в лагере жизнь от личной воли зависит. Чтобы выжить, должна быть воля к жизни, воля к работе, воля к делу. Она держится на желании жить.

*— Главное, по-вашему, это интерес к жизни, витальность?*

— Конечно. Напор. Если я — начальник цеха, важен мой напор, который заставит людей работать без понукания. Это почти гипнотическое качество. Выживали многие. Но главное *как* выжить.

Как-то раз я сильно повредил руку, лежал в лазарете два месяца. Поразило и обрадовало количество людей, которые ко мне приходили, причем, преодолевая трудности, потому что лазарет находился за зоной. Каждый день приносили махорку из посылок, масло, письма, что мне присылали. Я был всем известен, мог ответить на любой производственный вопрос. Делали так, «как скажет Кизимирыч». Тогда я понял, что я не один.

— *Жизнь — это импровизация или строгое развитие идеи, которая развертывается из внутреннего мира?*

— Это существование идеи, но слепого преклонения перед ней никогда не бывало. В любых условиях остается место для проявления личной воли.

— *Слабовольные люди первыми погибают в лагере?*

— Ну, может быть, — физически слабые. А вообще — как повезет. Если у тебя нет специальности, ты будешь работать на общих работах. А если ты токарь, пекарь, слесарь, сварщик, будешь работать под крышей. Главное это. Если попал на общие работы, то с них надо выбиться, что-то показать, что-то сделать.

Лагерь находился у города Печора. Когда прокладывали к городу железную дорогу, заключенные работали на ее строительстве. Под каждой шпалой там трое лежат.

Сначала я попал на лесоповал. Лучковой пилой с колена огромные сосны пилили. Каждые полсмены надо было править пилу. Я правил хорошо и стал пилоправом. Лес валили в двадцати километрах от основного лагеря. Через месяц меня взяли мастером-ремонтником в деревообрабатывающий цех. Потом я стал работать слесарем, делал фасонные ножи для дрсвообработки из паровозных рессор.

Там же в лагере написал два тома справочника «Изготовление и ремонт деревообрабатывающего оборудования». Его издали в Москве под фамилией технолога лесо-



«Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

комбината Шехтера. Потом он похлопотал обо мне. Были изобретения: рассчитал и сделал форму для выхлопного клапана в вентиле пожарной машины, он давал большой расход воды и дальнотойность струи. Сделал станок для напильников и станок для изготовления круглых палок нужного диаметра. Все это сократило мой срок на восемь месяцев.

— *Вас арестовали студентом, откуда Вы так хорошо производство знали?*

— Когда факультет эвакуировали в Ташкент, я не поехал. Остался и поступил в Станкин, там давали бронь. У меня уже был большой опыт работы с металлорежущими станками. Я работал в бригаде, которая паспорттизировала станки, приходившие к нам по ленд-лизу. Надо было все разобрать до винтика, нарисовать все схемы, сделать расчеты и заполнить паспорт на шестьдесят страниц.

— *А что самое тяжелое было в лагере?*

— Разлука с Москвой. В одном из писем я пишу: «Эта проклятая, пропотевшая миллионами вонючих тел, пыльная, колченогая на своих постовых, бесконечно любимая и бесконечно нужная...» Тоска по Москве была мучительна. По Москве, по ее воздуху. Она бесконечно снилась. У меня была душевная потребность в этом городе. В свое время эту надобность я формулировал так: «В Москве я счастлив тем, что меня никто не знает».

Чувствовал себя в городе абсолютно одиноким. Чувство свободы вследствие одиночества меня всегда очень устраивало. Мне нравилось, что я знаю каждый дом, его историю, как он освещается солнцем, в каком ракурсе.

Я родился в Голутвине. Год мне был, мы переехали в Коломну. Стукнуло пять, переехали в Перловку под Москвой. А жить в Москве мне и не пришлось. Мама с тетей Клавдией Аркадьевной сменили в Москве восемнадцать углов, скитались.

— *Многим в лагере помогла выжить вера. А Вам?*

— Нет, я неверующий. У меня нет такой потребности. Мама Наталья Аркадьевна была неверующая, хотя какая-то искра веры была. У тети Клавдии Аркадьевны никакой искры не было. Бабушка Варвара Анатольевна Васильева — урожденная Вяземская — была из первого выпуска женщин-врачей. Абсолютная атеистка. И она все ждала, когда же я вырасту и прочитаю «Что делать?» Чернышевского. По сути, была народницей. Она не изменила своим убеждениям и тогда, когда в тридцать третьем году расстреляли ее сына, моего дядю Аркадия Аркадьевича. Ее сестра, Мария Анатольевна, была очень художественной натурой, замечательной рассказчицей, прекрасно рисовала. Вот она была глубоко верующей, ездила по монастырям.

— *Абсолютно неверующих людей не бывает. Что является основой Вашей веры?*

— Я пропитан насквозь пассаизмом. Пассаизм — это память о прошлом, «passe» по-французски — прошлое. Память о младенчестве, память о нашем роде. Это своего рода религиозное чувство.

Мой дед, Аркадий Аркадьевич Васильев, родился в семье средней руки помещика, дворянина Гродненской губернии. Учился в провинциальной классической гимназии, давшей неплохое образование и привычку думать. Хорошо знал древние языки.

По семейной традиции поступил в Семеновский полк — привилегированный, второй после Преображенского Лейб-гвардии Его Императорского Величества полка.

Однако полковая жизнь обязывала тянуться за более состоятельными офицерами, участвовать в кутежах, играть, а главное, что было совершенно неприемлемо, посещать веселые дома. Не прошло и двух лет, как дед в чине поручика вышел в отставку.

Вернувшись домой, Аркадий Аркадьевич некоторое время не находил себе занятий. Из анекдотов того времени: как-то

«Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

он взялся подготовить дочку соборного дьячка гродненского храма для поступления в городскую гимназию.

Письма родителям она заканчивала так: «... Слаба-сраба, Богу здорова, в учење попралася». На вопрос, как она понимает, что Иоанн Креститель вел суровый образ жизни, отвечала:

— А кто к нему не придет, того он и ругат.

Затея с гимназией не состоялась, а перлы пережили три поколения, и я частенько цитирую их в своих лагерных письмах: «Слаба-сраба» — означало на нашем языке «всеобщее благополучие».

Впоследствии Аркадий Аркадьевич попал в Брянск и там познакомился с Брянским металлургическим заводом и влюбился в «горячее производство». Пришел к директору завода, сказал, что хочет работать. Директор предложил ему должность управляющего канцелярией, но дед сказал: «Я буду работать на всех участках производства, начиная с мальчишки на шишках». Это пацан, который подносит и укладывает жеребейки — пустотелые литейные формы.

И за три года он прошел по всем ступеням производства. После этого его пригласили в Сормово, а потом в Голутвин.

Дедушка умер, когда мне было шестнадцать лет. Я очень любил его, он мне был очень интересен. Он жил в Москве, а мы в Коломне. А в Перловке мы жили уже вместе. Там мы снимали четверть дачи на втором этаже.

— *Вас воспитывала мама?*

— Да, мы с ней буквально не расставались. Даже на час. Взаимопонимание у меня с мамой было сверхъестественное. Все нюансы настроения, все заботы, все опасения воспринимались взаимно.

— *От чего происходит становление человека: от природы или от воспитания?*

— Личность человека закладывается в генах. Воспитание — это последнее дело, поскольку у меня воспитания и не было.

Мы были с мамой вдвоем, и нам было бесконечно интересно только вдвоем.

Я не общался с ровесниками до пятнадцати лет, мне было с ними неинтересно. А с мамой у меня было постоянное взаимопонимание и взаимовосхищение. Взаимопонимание, взаимовосхищение и взаимочувствование. Три ипостаси человеческого существования.

Интеллект, душа и тело. До чего это здорово! Как хорошо, что в моей жизни это было!

— *С какого возраста Вы себя осознаете как личность?*

— С года я уже помню себя. Помню первую елку, мне было девять месяцев. Меня на руках держит бабушка.

Когда мне было два года, елка была большая. Открываются двери, и — жаркий свет свеч! Ощущение роскоши. Каждое украшение елочное я помню, где было. Я бы нарисовал, где был лимончика зеленоватый шарик, где был шар с симметричными кругами, где розовый стеклянный какаду с белым хвостом. Любое детское воспоминание окрашено настолько теплыми тонами и настолько оно дорого! Почти день за днем. Это память, когда картины всплывают, как в кино, они фотографичны, точны.

Бабушка привез мне раскладную паровую машину. В ней все детали открывались: кожуха, маховик, корпус. Их приподнимаешь, а там открываются парораспределитель, конденсаторная коробка и прочее. И бабушка объяснял мне принцип действия паровой машины. И весь ее внешний вид, где все слаженно, был очень приятен.

А бабушка привезла раскладную лошадь. И там кишки, легкие, мочевого пузыря и селезенка, и все, что есть. Рассказывал и объяснял дядя-биолог.

А тетя привезла складного человека, в которого я влюбился. И вся терминология на русском и латыни была мною с легкостью усвоена.

Мы с мамой ползали по ковру и раскладывали этого человека: мешки бумажные надутые, перевязанные тесемочкой, — это легкие, перевернутая красная чашечка — сердце...

«Я — ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

Тетя Клавдия Аркадьевна приходила с работы и тоже становилась на четвереньки на ковер, и мы вместе ползали, и нам всем было интересно. Зачем мне нужны были дети?

В младенчестве тетя держала меня на руках в пеленках и, укачивая, ходила взад-вперед и читала мне Пушкина и Лермонтова. Поэтому я знал «Ветку Палестины» до того, как научился говорить. И лермонтовское «По синим волнам океана» было непреложным атрибутом моего существования.

— *Эти воспоминания и в лагере Вас спасали?*

— Безусловно. Я чувствовал ответственность перед своим младенчеством. Я — младенец четырех лет — смотрел на себя самого в лагере и делал так, чтобы мне, тому из детства, было не стыдно.

В детстве был заложен сленг, узко семейная речь с разветвлениями, более богатая, чем нормативная лексика по словарю Ушакова. Абсолютное взаимопонимание обеспечивалось сленгом. Он спланирует людей, им владеющих. А если еще добавок вокруг дикари, готтентоты, — то это тем более замечательно. У сленга — феноменальная емкость и лаконичность. Он воскрешает самое важное в чувстве. Вы выделяете себя из массы людей.

В детстве был невероятный интерес к игре, жажда ее продолжить, вернуться к ней...

— *Жизнь — это игра?*

— Нет, жизнь есть жизнь, она подчинена строгой регламентации. У младенца абсолютно нет ничего такого, что нужно было бы выбирать. Сменарежимадня происходила с непреложностью явлений природы.

Утром я просыпаюсь, мама натягивает на меня все необходимое, через пять минут я умываюсь, чищу зубы, и дальше я залезаю на стул, передо мной стоит манная каша. Мне восемьдесят пять лет, я ем ее до сих пор каждое утро.

— *Смысл в упорядоченности?*

— Просто мне нравится. И дед мой ел манную кашу. Варила кухарка ее в «бариновой» кастрюльке из маминого кукольного немецкого сервиза. Этого ему было достаточно до обеда. Он шел в цех и работал. Пообедавши, выпивал чашку молока и шел спать.

— *Что дает стабильность, устойчивость быта, следование традиции?*

— Это помогает затрачивать минимум энергии на какие-то служебные вещи.

— *Внутри семьи — размеренность жизни, а вокруг — хаос?*

— Не было хаоса, был порядок — НЭП. После НЭПа началось вторжение жизни чужой, гнусной. Каждый интруз представлял собой потенциальную грязь, гадость. После прихода домоуправа надо было мыть пол.

— *Вы были в лагере и вернулись в Москву. Вам удалось влиться в старый круг друзей или Вы ощутили себя чужим?*

— Я влился, но круг очень сузился. До трех-четырех человек. Обстоятельства жизни.

— *Как в лагере было с книгами?*

— Только посылочные. Еще вольнонаемные приносили. Чтение было.

Комбинат имел около трех тысяч единиц механизации: двигатели, станки, выкатка, катерная база, сушильное хозяйство, теплотехника, электростанция. Отвечал за работу всего этого хозяйства фактически один человек. И он должен за два часа до предполагаемой поломки знать, что она произойдет.

«Я—ВАШ, БОЛЬШЕ, ЧЕМ С НЕБО!»

Я должен был жить в цехе и в каждый момент знать, какой станок, какой стан, какая пилорама должны сломаться.

— *Вы воспринимали цех как свой организм?*

— Да. И цех, и электростанцию, и сушильное хозяйство. Все.

— *Какой положительный опыт Вы вынесли из всего этого?*

— Смелость браться за любую работу. Брать на себя громадную ответственность. Умение жить с самыми разными людьми. Уметь договариваться.

Узнал массу машиностроительных специальностей. Научился чувствовать технологические процессы. Написал книгу «Математические методы в земледельческой механике».

— *Глеб Казимирович! Вы — человек бывалый. Простите за банальность: как жить правильно? Что делать?*

— Всегда отвечать на свое мгновенное минутное желание сделать что-то. Если хотите решать задачу математическую, займитесь ей, если хотите работать над архивом, работайте. Чего душа требует.

Творческий импульс всегда должен находить ответ, приложение.

— *А если импульса нет?*

— Жди. А если его и вовсе нет, тогда и спрашивать нечего.

*Беседовали  
Светлана Рапенкова  
и Василий Матонин*

## ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

### Заманчивое предложение Йозефа Швейка

*Литературный фестиваль в Праге — 2013.*

*Мнение участницы*

Могла ли я отказать Швейку? Конечно, нет! А именно он пригласил меня на Шестой международный литературный фестиваль в Праге, посвященный стотридцатилетию со дня рождения Ярослава Гашека.

И девиз фестиваля: «К Ярославу Гашеку! В Прагу! За оптимизмом!» мне понравился.

Да еще, Швейк, обращаясь к будущим участникам фестиваля, написал:

*Мои дорогие литературные друзья!*

*Тридцатого апреля две тысячи тринадцатого года исполняется сто тридцать лет со дня рождения моего родителя Ярослава Гашека!*

*Надеюсь, все любят книгу Гашека обо мне, и поэтому обращаюсь к вам именно, как к друзьям.*

*Независимый от грантов и потому свободный в выборе темы, фестиваль будет неформальным, а следовательно — веселым и интересным.*

*Пожалуй, нет тем или жизненных ситуаций, которые не были бы затронуты в книгах моего остроумного и наблюдательного родителя.*

*Поэтому на фестивале могут быть представлены самые разные жанры и произведения на любые темы: стихи, проза, юмор, публицистика.*



*Украсим фестиваль своими рассказами, песнями, оригинальными выступлениями! Вместо вежливых аплодисментов затеем дискуссии и обсуждения произведений.*

*Позволим себе шутить, смеяться, вспоминать разные истории и поднимать бокалы за жизнь!*

*Сделаем наш фестиваль достойным памяти Ярослава Гашека!*

*До встречи в Праге!*

*Йозеф Швейк.*

А проводил фестиваль Союз русскоязычных писателей в Чешской республике. Президент этого Союза — Сергей Левицкий стал Председателем Оргкомитета фестиваля. Мало ему было должности главного редактора литературного журнала «Пражский Парнас».

На каждом фестивале должна быть знаковая фигура. Литераторы это любят. Почетным председателем Оргкомитета фестиваля любезно согласился быть Иван Переверзин, председатель Исполкома Международного сообщества писательских союзов.

Мне удалось пересчитать число участников, которые, общаясь, непрерывно перемещались по залу. Их оказалось сорок один человек из десяти стран: Австрии, Германии, Италии, Молдовы, России, Украины, Франции, Финляндии, Чехии, Эстонии...

Первый день фестиваля проходил в ресторане «Алтаны Кампа», на берегу реки Чертовки, в самом центре исторической Праги.

Я думаю, нет в городе более романтического места. Здесь рядом все: Карлов мост, пражская Венеция, стена памяти Джона Леннона, старая мельница.

Перед обедом литераторы под руководством замечательного экскурсовода Надежды Гейловой совершили часовую прогулку по острову Кампа — району, овеянному легендами и преданиями.

А сам фестиваль открылся коллективным исполнением Гимна фестиваля и взаимными поздравлениями участников под звон бокалов с шампанским.

При открытии, Сергей Левицкий сказал:

*«Дорогие писатели и поэты! Я рад приветствовать вас в Праге. Не только рад приветствовать, но и искренно горжусь вами! Ведь у каждого есть свои дела, проблемы... Но вы все-таки нашли время приехать на фестиваль. Вы нашли на это и средства. И вас не какая-то казенная организация за гранты послала в Прагу. Вы приехали сюда сами. Приехали потому, что вы — люди творческие, небезразличные к литературе и русскому языку. Вы — именно те точки опоры, на которых на самом деле и держится Русский мир Зарубежья».*

Затем победителей Конкурса фестиваля стали награждать дипломами и вручать им сувениры. Начались литературные чтения.

Несмотря на то, что фестиваль был посвящен Ярославу Гашеку, во время чтений звучали произведения на самые разные темы. Ведь и сегодня нас окружают типажи из книги «Похождения бравого солдата Швейка»: подпоручик Дуб, поручик Лукаш, фельдкурат Отто Кац, кадет Биглер, агент-provocator Бретшнейдер...

Хотя среди участников фестиваля, в явном виде, я этих типажей не обнаружила...

Творческая палитра литераторов отличалась большим разнообразием. Их выступления можно было сравнить с разноцветными стеклышками различной формы, из которых сложилась великолепная мозаика — картина Русского мира за рубежом.

Поэтому было бы неправильно сейчас мне выделять каких-то отдельных авторов. Очень неординарные люди собрались!

Литературные чтения не были утомительными: периодически на фестивале звучали авторские песни Виталия Воронухи из Италии, Александра и Юрия Бубновых из России. Литераторы отдали должное исполнительскому мастерству чтеца Валерия Иванова-Таганского, который провел мастер-класс для поэтов и писателей.

Чуть не забыла сказать про «кофе-брейк». В угоду памяти Швейка, его заменили на «пиво-брейк». Хотя, конечно, и

кофе с чаем тоже были. А еще вдруг принесли вволю великолепной красной икры, оправдываясь тем, что Ярослав Гашек некоторое время жил в России и наверняка икру полюбил. Этим, как я поняла, была сохранена историческая правда.

Перед ужином возникла литературная дискуссия на тему о гражданской позиции литератора и требовательности к качеству своих произведений. Ведущий вечер президент Союза русскоязычных писателей в Чешской республике вовремя снизил накал страстей и не позволил дискуссии дойти до ее логического завершения...

Весь день музыкальное сопровождение фестиваля обеспечивал великолепный пианист-импровизатор Майк Гимельштейн.

На второй день мы сфотографировались у памятника Св. Вацлаву в центре Праги и затем выехали на автобусе в один из самых знаменитых и красивых замков Чехии — Конопште. Он упоминается на первой странице книги о Швейке.

Замок приобрел свою известность благодаря тому, что стал последней резиденцией наследника Австро-Венгерского престола — Франца Фердинанда фон Габсбурга.

Замок во французском стиле расположен на берегу большого озера. По роскошному парку, сторонясь фотографов, разгуливают павлины, и по старой чешской традиции замок опоясывает ров, в котором и сегодня живут охранники-медведи.

На меня замок произвел глубокое впечатление. Помимо полностью сохраненного убранства: мебели, картин, сервизов, гобеленов, — я увидела три тысячи охотничьих трофеев Фердинанда, который за свою жизнь, по легенде, убил триста тысяч животных. Мне подумалось, что это не совсем нормально.

Затем, уже подружившиеся литераторы, переехали в знаменитое местечко Грусице, где жил и работал художник Йозеф Лада, иллюстратор книг Гашека. Он нарисовал пятьсот сорок рисунков к книге о Швейке.

Здесь, в старинной пивной «У Швейка», куда любил захаживать попить пива сам пан Лада, прошел обед, продолжились литературные чтения и дискуссии.

Надо сказать, что кухня этой деревенской пивной несколько не уступала пражской и успешно скрепляла дружеские контакты участников.

На обратном пути в Прагу, в автобусе, воспользовавшись микрофоном экскурсовода, участники фестиваля читали стихи и прозу. Вспомнили и Бродского, и Пастернака...

В работе фестиваля не было никаких сбоев. Все шло по плану и по минутной стрелке.

Литературный конкурс фестиваля проводился в четырех номинациях: поэзия, проза, юмор, публицистика. Для оценки выдвинутых на конкурс работ было создано компетентное жюри — редакция общероссийского журнала «Смена».

Никаких наград я не получила: хотя честно говоря, надеялась. Так что обвинить меня в тенденциозности нельзя.

Хотя нет, участие в фестивале и было для меня самой замечательной наградой!

## Коротко об авторах

В а с и л ь е в Глеб Казимирович родился в Коломне в 1923 году. Мать — Наталья Аркадьевна — урожденная Вяземская. Отец — поляк из древнего рода Арцышевских. Получил домашнее воспитание в семье матери — педагога и тети — врача..

В 1932 году поступил в четвертый класс средней московской школы, где учился до восьмого.

Сдав экстерном выпускные экзамены, поступил в 1939 году на физический факультет Московского государственного университета, откуда, в связи с эвакуацией, перешел в 1942 году в Московский станкоинструментальный институт.

Осенью 1945 года на пятом курсе был осужден по статье 58-й пункт «за антисоветскую пропаганду» и отправлен по этапу в Северо-Печорский лагерь, на так называемую «стройку 503-ю». После пятилетнего отбытия срока, имел «поражение в правах» и в течение трех лет работал слесарем в Южном Казахстане, одновременно сотрудничая в вычислительном центре Алма-Атинской обсерватории.

В год смерти Сталина получил возможность вернуться в Москву.

В 1973 году, не имея законченного высшего образования, защитил диссертацию по специальному разрешению ВАКа.

Занимался вопросами теоретической лингвистики. Владел французским, английским, польским, чешским и сербско-хорватским языками.

Автор публикаций в ГРАНЯХ: «Неужели все это было правдой?», «Встречи с Ю. А. Казарновским», «История Тифлисского альбома Николая Гумилева», «Проза, насыщенная электричеством памяти», «Земля Обетованная», «Их дух, их мысль...», «О Тихоне Чурилине, Ходасевиче и других (часть из материалов совместно с Г. Никитиной).

Головова Лидия Алексеевна родилась в 1941 году в Москве.

По образованию – художник, закончила Московский государственный институт имени В. И. Сурикова.

С 1996 года – главный редактор многотомной книги памяти «Бутовский полигон» с краткими биографиями расстрелянных на полигоне за годы советской власти.

Сотрудник отдела новейшей истории Свято-Тихоновского Богословского института (Москва).

В ГРАНЯХ (№ 201) опубликован материал «Звезды смерти стояли над нами. Московские расстрелы», в № 209 «Мученический венец барона фон Гревеница», в № 211 «Распяты» о графе В. А. Комаровском. В № 217 «Последний подвиг митрополита Серафима», в № 218 «Богу и ближнему: Владимир Джунковский», в № 220 «...И память о тебе. Художники и Бутовский полигон», в № 222 «Подмосковное имение Бутово и его владельцы», в № 227 «Зона смерти – „Коммунарка”», в № 234 «Шпионаж на вершинах», в № 235 «Художник Владимир Тимирев».

Иванов-Таганский Валерий Александрович родился в городе Никологорске Ивановской области.

Закончил Художественное ремесленное училище в Риге, затем Щукинское театральное, а позднее Литературный институт имени М. Горького и ГИТИС.

После окончания Щукинского училища – ведущий актер Театра на Таганке.

С 1979 по 1982 год – главный режиссер академического театра имени Лермонтова в Алма-Ате (Казахстан).

С 1988 года жил в Болгарии, ставил спектакли, был председателем общества «Русский клуб».

1999 год – триумфальное возвращение на родину. О нем выходит фильм. В. И.-Т. – режиссер-постановщик театра «Содружество актеров театра на Таганке». Телеведущий передачи «Искатели» на Первом канале.

Автор книг: «Обреченная на жизнь», «Грабли для сатрапа», «Семья Отечества», по которому снят многосерийный фильм по заказу правительства Москвы «Репортеры».

Из-под его пера выходят новые романы: «Грязь к алмазам не пристает», «Кого отмечает Бог», «Запрет на прозрение», «Грехи шелудивых псов», сборник пьес на болгарском языке «Под старой крышей» и другие произведения.

В наши дни работает над новым романом «Умка из ДТП».

## КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Секретарь Правления Союза писателей России, ответственный секретарь по международным связям Московской городской организации Союза писателей России; вице-президент Петровской академии наук и искусств, заслуженный артист России.

Лауреат многих литературных премий.

Живет в Переделкине.

В ГРАНЯХ в № 247 опубликовал отрывок из трилогии «Обреченная на жизнь».

Перова Евгения Георгиевна окончила исторический факультет Московского государственного университета.

Тридцать с лишним лет проработала в Государственном Историческом музее — реставратором, хранителем, ученым секретарем. Не надолго покинув родной музей, вернулась туда снова в отдел реставрации.

Кандидат искусствоведения, преподаватель.

Автор книги «Ловушка для бабочек». Член редколлегии альманаха «Белый Ворон».

В ГРАНЯХ (№ 248) опубликованы ее рассказы «Четвертый попутчик» и «Конспект романа».

Хетагуров Алексей Николаевич родился в Москве в 1940 году.

Закончил исторический факультет Московского Государственного Университета имени Ломоносова, почти сорок лет проработал в Историческом музее реставратором темперной живописи.

Художник-пейзажист, участник персональных и коллективных выставок. Многие его работы находятся в частных коллекциях в разных странах.

В ГРАНЯХ (№ 249) опубликован рассказ А. Х. «Один поляк».

Шустов Антон Алексеевич.

Родился в 1993 году, вырос в Москве. После школы закончил театрально-художественный Колледж по специальности «художник мультипликатор», затем учился в Джазовой студии «С-jam club». Участвовал в интернет-конкурсе фантастического рассказа «Mirrorshade».

В ГРАНЯХ печатается впервые.

## ОБРАЩЕНИЕ

**Редколлегии журнала ГРАНИ к русской эмиграции,  
литературной молодежи и студенчеству стран Европы,  
Америки, Азии и Австралии**

Нет сегодня в России еще журнала с такой удивительной, прекрасной и трагической судьбой, как ГРАНИ.

С момента основания, за свою более чем полувековую жизнь, журнал помог выжить литературе под коммунизмом и доводил до подсоветской части интеллигенции традиционные линии российской культуры, которые не только сохранялись, но и развивались в эмиграции.

Творцы журнала никогда не знали, какое количество экземпляров — порой с риском для жизни тех, кто это делал, — пересечет границу. Но они были твердо уверены в том, что каждая их строка обязательно будет прочитана ТАМ. И что от первого читателя журнал попадет ко второму, третьему, четвертому... и по цепочке окажется у человека, который перепечатает его в нескольких копиях.

В том, что идеи свободного мира расхотелись за железным занавесом как круги по воде, есть бесспорно заслуга ГРАНЕЙ. Взрыв гэбистской бомбы у редакционного порога свидетельствовал об этом как нельзя более красноречиво.

Люди, подвижничеством которых живет журнал в России в наши дни, уверены в нужности своего дела так же твердо, как и их предшественники. Да, в стране нынче можно распространять любые идеи, печатать любую литературу, однако восприимчивость общества невероятно упала.

Если в гробовой атмосфере официального единомыслия тоталитарного мира эффект ГРАНЕЙ и ПОСЕВА был эффектом громкого шепота среди тишины, то сегодня, когда сотни независимых источников предлагают свои — увы! — часто совершенно безответственные версии, объяснения, программы и прогнозы на будущее, информационный шум стал ревом Ниагары.

Вот почему все больше сбитых с толку людей обращаются к привычным и проверенным журналам, радиостанциям и т.д.



Для тысяч и тысяч российских интеллигентов логотип ГРАНЕЙ — знак качества высшей пробы. Этих людей не стоит недооценивать. Их влияние непропорционально их количеству. Все мы помним, что куда меньше число диссидентов совершило в нашей стране то, что когда-нибудь будет названо «чудом конца восьмидесятых».

В условиях, когда слишком многие российские СМИ, слышущие демократическими, открыто заигрывают с коммунистами, шовинистами, расистами, изоляционистами, ненавистниками Запада, врагами либеральных ценностей, особенно важно, чтобы журнал, который ощущается одним из необходимых российских институтов, продолжал выходить.

Сегодня ГРАНИ издаются в России в судьбоносное для страны и такое трудное для литературных изданий время исключительно на средства зарубежных подписчиков.

Учитывая ценность журнала для будущего России, а также для русской эмиграции, которая по-прежнему живет тревогами и болью своего Отечества, просим Вас помочь в распространении журнала в 2014 году от Р.Х.

За 2013 год вышли №№ 245, 246, 247 и 248, которых у Вас, возможно, нет.

**Адрес редакции журнала ГРАНИ  
для оформления подписки, писем и сообщений:**

**GRANI  
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE  
CEDEX 94431  
FRANCE**

О том, по какому адресу мы должны Вам послать журналы, а также об отправке Ваших денег убедительно просим известить по вышеуказанному адресу или по e-mail:

**grani.08@mail.ru**

**Принимаем заявки на подписку 2014 и 2015 годов от Р.Х.**

Учредитель:  
Journal «Grani»

**Ассоциация «ГРАНИ»**  
**L'association «GRANI»**  
**De l'association n w751170197**  
**Paris**

*Статьи, подписанные фамилией или инициалами автора,  
не обязательно выражают мнение редакции.*

*Не принятые к публикации рукописи не возвращаются.*

*Перепечатка без разрешения воспрещается.*

Компьютерная верстка — Мария Гольдман

Подписано в печать 29.08.2013. Формат 84 × 108 <sup>1</sup>/<sub>32</sub>.

Печать офсет. Бумага офсет. № 1.

Усл. печ. л. 7,5. Уч.-изд. л. 10.

Тираж 150. Заказ №

Отпечатано в ООО «МЕДИА-ГРАНД»  
152900 Ярославская область,  
г. Рыбинск, ул. Луговая, д. 7.

# Journal «Grani»

Журнал ГРАНИ — 2014  
№ 249, № 250, № 251, № 252

Для оформления подписки,  
писем и сообщений:

GRANI  
BP 24 CHENNEVIER-SUR-MARNE  
CEDEX 94431  
FRANCE

## Представители:

- |         |   |
|---------|---|
| РОССИЯ  | T. Zhilkina<br>17, Milashenkova str., app. 61<br>127322, Moscow<br>E-mail: grani.08@mail.ru |
| АМЕРИКА | K. Troosh<br>600 Fifth Ave<br>San-Francisco CA 94118<br>E-mail: katia@katias.com            |
| ФРАНЦИЯ | N. Fedorovsky<br>16 square J.-B. Pigalle<br>77680 Roissy-en-Brie<br>Tel.: 01.60.28.36.57    |

**Спрашивайте журнал ГРАНИ  
в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга**

**Легко и радостно жить тому,  
кто ищет в других хорошее,  
ищет и находит.**

**Исканием своим помогает он тем,  
в ком ищет, раскрыть и проявить  
светлые г р а н и души. Но для этого  
он прежде всего в самом себе  
должен раскрыть их, должен стремиться  
к совершенствованию.**

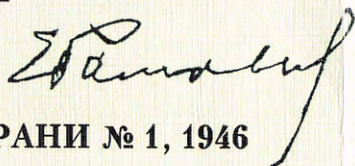
**Каждый человек –  
часть органического целого, человечества.  
Совершенствуется часть –  
совершенствуется целое.**

**Тот, кто становится на путь Правды,  
помогает всему человечеству  
стать на тот же путь.**

**А необходимость этого, может быть,  
никогда так не была велика, никогда так  
не ощущалась всеми, как в наши дни.**

**В свете этого большая  
и ответственная задача  
стоит перед теми, кто служит Слову, –  
Слову Правды.**

**Тогда подлинным гуманизмом будет  
проникнуто творчество художника  
и оправдано в служении Человеку,  
Правде человеческой, Правде Божьей.**



**ГРАНИ № 1, 1946**